

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

КОММЕНТАРИИ

Георгий Адамович — КОММЕНТАРИИ



ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

КОММЕНТАРИИ



Издание Русского книжного дела в США

Victor Kamkin, Inc.

Washington, D. C. 1967.

All rights reserved
Все права сохранены за автором

Книга отпечатана в количестве 2000 экземпляров

Publisher: Victor Kamkin, Inc.
1410 Columbia Road
Washington, D. C. 20009, U.S.A.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

Эта книга составлена из заметок и статей, написанных в последние тридцать—тридцать пять лет. Большая их часть была помещена в различных изданиях под общим заглавием «Комментарии».

Заметки на первый взгляд разрознены и связи между ними нет. Как ни трудно человеку о себе самом судить, впечатление это представляется мне поверхностным и ошибочным: связь есть, а если читатель не в силах ее уловить, значит автору, к сожалению, не удалось сказать то, что сказать он хотел, с необходимой отчетливостью.

В книге попадаются повторения, не мало в ней и противоречий, в особенности, когда речь возникает о поэзии. Оставил я их умышленно, считая, что не к чему искусственно сглаживать написанное на протяжении долгих лет, порой с очень большими промежутками. Именно единство или по крайней мере родство тем делают естественным и даже неизбежным возникновение иной, новой их разработки: на одной странице надо было оттенить то, что оставалось не ясно, на другой — дать место тому, что было забыто.

Хронологический порядок заметок кое-где нарушен. Мне казалось это нужным для внутренней цельности книги, — так же, как и включение в нее трех статей, помещенных в конце.

Париж, 1967.

Г. А.

После всех бесед, споров, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийства, после русского шпенглеризма, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации оставался человек один, наедине с собой, вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества можно еще существовать, любить, думать, жить, — все-таки и после всего этого не поздно и не лишнее повторить, что главный для нас, общерусский вопрос, над личными темами, есть вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия — страна промежуточная. И конечно, этот вопрос, будучи главным везде и всегда, остается главным и в литературе. Ответа еще нет, но все, что мы теперь предпринимаем, во всех областях, есть подготовка материала для решения, составление «дела», «досье», где время наведет порядок.

А все же, так или иначе, Россия должна бы остаться Россией, с единственными своими чертами, с тем, чему она нас научила и от чего не отречемся мы никогда. С тем, что должны бы мы передать нашим детям, внукам, правнукам.

Как долго, годами, десятилетиями, обольщались мы насчет Европы! «Дорогие там лежат могилы». Действительно дорогие, этого забыть нельзя. Хорошо и верно, Иван Федорович, говорили вы об этом своему младшему брату, послушнику. В Европу, на запад, нас несло

почти что на крыльях любви. И вот, донесло. И после всех наших скитаний, без обольщения и слезливости, со свободной памятью, спокойно, уверенно, говоришь себе: сладок дым отечества. Все серо, скудно, и Боже мой, до чего захолустно. Но уверенно, откровенно, учитывая последствия и выводы, хочется повторить: сладок дым отечества, России.

Не потому, что это — отечество, а потому, что это — Россия.

Как бы об этом сказать? Бывало в рассказах, в одном из толстых журналов. Вечер. Станция, где-нибудь в средней полосе России. Поезд только что прошел. Станционная барышня еще гуляет взад и вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, косы, мечты. Пожалуй еще и березки, непременно «чахлые», за палисадником, непременно «пыльным». Ждать больше нечего.

Это, разумеется, должно было быть в восьмидесятые или девяностые годы, в «безвременье». Знакомо так, что незачем и вглядываться, а кому не знакомо, тот действительно ничего «не поймет и не заметит». Здесь почти все пелены уже прорваны, жизнь наполовину призрачна. Это русская глушь, переходящая в елисейские тени. Все белое и черное, как в монастыре. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, безнадежная музыка Чайковского, выветривающиеся «идеалы»...)

Но долго длиться это не могло. Что-то должно было произойти — и произошло.

А. говорил мне:

— Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было

понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?», и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками.

В дополнение: любопытно, что теперь наши поэты все больше клонятся к тому, чтобы уподобиться ангелам за счет естества человеческого. Им душен воздух земли и поднять весь человеческий груз им очевидно не по силам. Они и сбрасывают его, после чего беспрестанно добираются до мнимых небесных сфер. Но по старинному глубокомысленному преданию человек больше ангела. «Гете был пошляк», воскликнул в запальчивости и раздражении, на многолюдном парижском собрании, один из старых ангелических русских писателей, — верно улавливая отталкивание, но с ужасающим кощунством в порядке истинной иерархии ценностей.

Конец литературы.

Книги, конечно, никогда не перестанут выходить, их всегда будут читать, разбирать, хвалить, критиковать. Но речь вовсе не о книжном рынке, хотя бы и самом изысканном, самом «культурном», а о том, что может смутить сознание писателя.

По самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю возжаждать «вещей последних», как литература (своя, личная литература) начнет разрываться, таять испепеляться, истончаться, и превратится в ничто. Может убить ее ирония. Но вернее всего

убьет ее ощущение никчемности. Будто снимаешь листик за листиком: это не важно и то не важно, это — пустяки и то — всего только мишура. Листик за листиком, безостановочно, безжалостно, в нетерпеливом предчувствии самого верного, самого нужного... которого нет. Есть только листья, как в кочане капусты. Едва пожелаешь простоты, как простота примется разъедать душу, серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко мефистофельское и по мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты, но и как достичь ее, не уничтожившись в то же мгновение? Все не просто, простоты быть не может. Простота есть ноль, небытие. «Я, — конечно, я воображаемый, — еще могу написать то, что все вы пишете, но я уже не хочу этого. И пусть не намекают мне с сочувственной усмешечкой на бессилие: умышленно, сознательно предпочитаю молчание».

Возможно и другое объяснение, пожалуй более наглядное: литература принуждена выбирать случайную тему, случайные образы, то есть одного человека из миллионов, не схему, а личность. Если же случайного, то есть игры, я избегаю, литература гибнет. Представим себе круг с радиусами. Литература — на концах радиусов, где поле необозримо, где манят и мерцают тысячи случаев, тонов, ритмов, случаев, сюжетов, настроений. Удача выбора, оправданность его посреди всей этой сложности и есть свойство таланта, и чем безграничнее материал выбора, то есть чем дальше скольжение по радиусам, тем в творчестве больше радости, а в игре больше свободы. Но иногда возникает желание: спуститься к центру. («Не хочу пустяков, хочу единственно нужного»). И поле неуклонно суживается, радиусы стягиваются, выбор уменьшается, все удаленное от центра кажется поверхностным, все одно за другим отбрасывается. Человек ищет настоящих слов, не навидя оболщения, отказываясь от них неумолимо-логическими в своей последовательности отказами. И вот,

наконец, он у желанной цели, он счастлив, он у центра. Но центр есть точка, отрицание пространства, в нем можно только задохнуться и умолкнуть. Настоящих слов в языке нет, а передумывать и перестраиваться, — бить отбой, — поздно, да и невозможно.

В духовной биографии Пушкина кое-что именно так становится понятно. Пушкин ссыхался, затихал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной были тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его иссякал, вопреки предположению Белинского, — конечно, нет! Но повидимому не хотелось ему уже того, чем этот талант прельщался раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, останься Пушкин жив, как знать? — но пути его не видно, пути его нет. В последних, чудесно-зрелых стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул со ступеньки на ступеньку, мог бы докатиться и до конца. Это — к великой чести Пушкина, как и всех, кому мерещится «непоправимо-белая страница», после чего еще можно жить, но уже нельзя писать. (Рэмбо, одна из снеговых вершин французской литературы, внезапно променявший поэзию на коммерцию, а вместе с ним наверно и другие, оставшиеся нам навсегда неизвестными, устоявшие перед соблазном литературной удачи и славы).

За что вы любите Толстого?

Вопрос задан был мне с оттенком недоверия в голосе. Ответив уклончиво, я задумался. За что? Узко-эстетически, в плоскости «нравится», мне все-таки не все у Толстого нравится. Язык? Да, конечно, язык у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за язык, это ведь не Лесков. Ощущение жизни? Да, но по давним декадентским воспоминаниям, от которых мне

трудно отделаться, оно мне чуждо. (При всем желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь сказать что-нибудь не совсем общее. Убрать себя со своей дороги нельзя. Здесь «я» не цель, а средство, не объект, а призма. Приходится это объяснять во избежание «досадных недоразумений», устраивать которые всегда найдутся добровольцы-любители). Многое другое перебирал я, но признавая «да, и это», все же чувствовал, что главное обхожу.

Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытие: просто я по новому понял то, что знал и раньше. Попался мне на глаза номер «России и Славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номер по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейные страницы! О бальмонтовском переводе «Слова о Полку Игореве» не стоит говорить, да этот нелепый «перевод» и не относится к делу. Но рядом, со всех сторон, особенно на первой странице; русская культура, русская государственность, заветы Петра, традиции Сперанского, наша миссия в эмиграции, наш долг перед родиной, Пушкин, Достоевский и Суворов, даже Суворов... И ни разу, нигде — имени Толстого! Как это хорошо! Как хорошо, что имя его невозможно... нет, не в этом ряду, а в этом контексте! Как хорошо, что нельзя устроить ко «дню русской культуры» собрание в зале Трокадеро, посвященное Толстому, — а если устроить, то получится такая ложь или такой конфуз, что горько придется устроителям раскаиваться. А ведь Толстой это все-таки Россия, только не такая, какой представляет ее себе редактор «России и Славянства». Что говорить, и Пушкин в действительности не тот, что у Петра Струве, и даже Достоевский не тот, но они беспрепятственно поддаются стилизации, они безропотно участвуют в сусально-патриотическом маскараде, и даже соседству с Суворовым не очень удивляются. А в Толстом правдивость так сильна, что его не сломаешь. Он

и после смерти «не может молчать», и поэтому на юбилейном торжестве с демонстрированием наших национальных слав лучше и благоразумнее сделать вид, что его в России никогда и не было.

Повторяю, это мелочь. Ну, что такое какая-то парижская газетка, что такое «день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках? Но Толстой всюду таков, в великом и в малом.

Надо бы нам условиться, что без него русской культуры не будет, — хотя и не совсем еще ясно, как его в какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь с ним, — и значит, без бутафории, — чем любое благоустройство, будто бы его «преодолевшее» и успокоившееся на Суворове.

В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает.

Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неумолимой настойчивостью, доходя до ясновидения и усматривая ложь там, где никто никогда ее не замечал. В сущности это его главный художественный прием, тот, которому он больше всего остального обязан репутацией «сердцеведа». Он и в самом деле знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить будто по инерции, «ложь, фальшь, притворство!», когда никакой лжи не оставалось? Ему верили потому, что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это была скорей маниакальная подозрительность, чем зоркость.

В лицемерии он готов был заподозрить и Бога, ка-ким представила его церковь. Он отверг обрядность,

ибо «зачем это Богу нужно?». Неужели, если Бог есть Бог, требуются ему какие-то ухищрения, штучки, фокусы, неужели нельзя обращаться к нему просто, как бы «с глаза на глаз», без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме, для вызова духов, но неужели нужна она и всемогущему Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, слабому человеку, Толстому, это противно, и лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем нужна Богу вера в него? Богу должны быть нужны только дела. Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, при всей своей прямолинейности чрезвычайно значительного, чрезвычайно серьезного, вопреки обличениям, большей частью мало серьезным. Есть вообще в облике Толстого, — как в позднем протестантстве, — какое-то глубоко человеческое, очищающее и честное величие. Но требуя от Бога прямооты, он отдалил от него людей, подорвал веру в Бога. Толстовский Бог неуловим и доступа к нему нет.

Так путь к правде оказался путем к небытию . . . Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с «цивилизацией» и всему мировому строю, в котором доля условности должна быть допущена? Может быть Богу нужны обряды? Может быть Богу нужны догматы? Толстой с этим никогда не согласился бы, но как знать? — не остался ли он в ужасном и безисходном одиночестве, без опоры, без поддержки именно там, в тех высших, небесных духовных сферах, где он уверен был опорой и поддержку найти?

Есть древняя легенда, которую вероятно все знают. Но зная, будто сложили на полочку, где лежат и прочие «ценности»: для обозрения в часы досуга.

Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию помимо его воли, из его полноты, рискнул пожить за свой страх, на авось, на будь что будет. И вот выясняется, что ровно ничего не «будет». Смерть непобедима, несчастья и страдания неустранимы, их будет все больше и больше на «пути прогресса», потому, что пути нет, прогресса нет, и всякое «вперед» есть только дальнейший прыжок в пустоту, без малейшей надежды на что-либо опереться, чего-либо достичь.

Конечно, это удивительное сказание, с удивительными выводами, которые сами собой из него возникают, не для всех на «полочке ценностей». Оно многих измучило, но его следовало бы предложить на ежедневное размышление всем людям в качестве «пробного камня» внутреннего опыта, как духовное упражнение. Опровергается оно только изнутри, не умом, а каким-то согласием со всей жизнью, «солидарностью» с ней до тех ее слоев, которые невозможно заподозрить в своеволии. Однако сомнение остается. А что, если все это обман, иллюзия, — эти слияния с природой, эти летние полдни, когда все видимое, окружающее так спокойно и счастливо, и почти одушевленно приглашает человека к покою и счастью, — что, если все это обман?

Закаты не обманывают, — куда они зовут? Поэзия не обманывает, — о чем она? Откуда она и куда?

Отчего в шестнадцать лет, на пороге жизни, человеку всегда так безотчетно-тревожно, отчего так понятны ему закаты, так близка ему поэзия, будто именно у «порога», «оттуда», его в последний раз призывают оглянуться, возвратиться, одуматься? А потом человек становится инженером, поступает в банк, и уж до самой смерти ни на что не оглядывается... И вот в душу закрадывается соблазн, поистине последний: не надо ли «погасить мир», то есть на это работать, потому, что всякое подлинное «вперед» идет лишь по направ-

лению назад, а если упорствовать и заниматься «строительством», в любом стиле, в любом вкусе, то никогда ничего кроме умножения бедствий не получится? «Могий вместити . . .». Принципиальные, прирожденные оптимисты ничего не подозревают, «вперед без страха и сомнения», и точка! Опыт их не имеет никакого значения ни в жизни, ни в искусстве, потому что они просто-напросто не знают, в чем дело, «не подозревают». Если им растолковать, они ответят: «полноте, батенька, чепуха-с!» (Оттого этот человеческий склад «батенька» и прочее, во всех его современнейших разновидностях, невыносим до дрожи, до тошноты, как кощунство. И рядом так хороша «задумчивость»). Но тот, кто услышал, уловил «голос оттуда» и справился с ним, действительно достоин быть учителем человечества. Если даже все остается гадательным, лучше наугад решить «да», чем наугад сказать «нет», а здесь, в этом случае, не только лучше, а мужественнее, прекраснее, милосерднее, не знаю, как выразиться еще . . .

В сущности в этом «да» все таинственное обаяние Гете. Другие или не все расслышали, или — как русская литература, кроме Пушкина, — не окончательно справились.

Тайна писательства повидимому заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение, и при даровитости пишущего интонационно приходится там, где поддержки требует смысл. Не только в способности согласовать это распределение веса с естественным течением речи.

Но еще и в том, — больше всего в том, — что слово падает на точно предчувствуемом (нельзя было бы сказать «точно отмеренном») расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко — оно безжиз-

ненно, слишком далеко — оно пусто, и оттого пожалуй настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит. Безошибочность же первоначального «толчка», если и не всегда требует вдохновения, есть результат напряжения всего существа — ума, сердца, воли. «Набить руку» тут нельзя.

Сейчас почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конец. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна из виду линия, на которой слово должно падать. Линия стерта, затоптана, и ни талант, ни техника не помогают: слова падают то слишком далеко, то слишком близко. «Пишите прозу, господа», сказал когда-то Брюсов. «Пишите прозу, господа», говорит сейчас поэтам само время. Дайте стихам отдохнуть, как дают отдохнуть земле.

Годами, годами думает человек о том, что хотел бы написать, а именно этого никогда и не напишет.

«Прощание с Вагнером». Не сомневаюсь, страница останется пустой, навсегда, «среди всякой пошлости и прозы», благополучно и беспрепятственно, из-под того же пера, укладывающихся на бумагу.

Вагнер. Имя незаменяемое, хоть и вызывающее досаду. Свет сильнейший, но не вполне чистый. Волшебство, огромным усилием воли достигнутое, но без первичной благодати. Вагнер... да, да, театральщина, романтизм, звуки оказавшиеся все же чуть-чуть беднее, чем нам казалось... да, да, дважды два четыре, Волгападает в Каспийское море.

Но как будто сходя с лестницы, на последней ступени, с которой еще виден «весь горизонт в огне», перед тем, как перестать оглядываться, перед тем, как пойти вместе с другими в общий путь, в общих тесных рядах, перед всем этим — привет, поклон, благодар-

ность! Вагнер — наша круговая порука, будто одним только нам и было понятно, о чем вспоминает Зигфрид перед смертью. Вагнер — таран, пробивший главную брешь, Вагнер — залог, «может быть залог». Пусть и старый фальшивомонетчик, пусть, возможно, — как знать, может быть Ницше и прав, да и в чем, кроме мелочей, Ницше когда-либо ошибался? — но за фальшивые ассигнации нам-то выдано было чистое золото. Прощание с тем, что мы сами уже еле-еле различаем, что «в ночь идет», что «плачет уходя». Прощание с тем, что кружило голову Андрею Белому, с тем, что знал бедный, мало кому уже ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещей строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами и соснами, в сравнении с которыми на истинных весах поэзии мало чего стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и оригинальными рифмами. Прощание смешанное с надеждой, с предчувствием новой встречи, когда-нибудь, где-нибудь.

После доклада Бердяева.

Утверждение, что именно «красота спасет мир», что без красоты мир спасен быть не может.

А не сжимается ли сердце в сомнении и страхе от того, что красотой может быть придется пожертвовать? Красота аристократична, — я едва не написал реакционна, — и по связям своим, в родственном своем окружении, она социально порочна, — и как остро, как безошибочно верно чувствовал это Константин Леонтьев, человек эстетически-гениальный, но морально-безумный, как остро, как безошибочно чувствовал это Толстой, человек морально-гениальный и именно потому, именно в силу этого-то стремившийся к эстетическому нигилизму, принявший его, как вериги! Красота исключает равенство, и пускай Леонтьев вкуче с Достоевским сколько им угодно издеваются: не равенст-

во, мол, а «всемство», — от игры слов сущность дела не изменяется. Красота создаваемая одним человеком требует молчания, подчинения, невольной, бессознательной жертвы со стороны ста тысяч других, лежащих под ней навозным удобрением. Красота возникает от пестроты мира, от игры света и теней, от скрещения бесчисленных лучей в одной точке, а если свет распределить равномерно, она иссыкает... «Анна Каренина»: Толстого сочли умственно ослабевшим, когда он отверг свое художественное творчество, а ему ведь было стыдно, что в то время, как обворожительная Анна в бархатном черном платье пляшет на московском балу, какие-то люди, такие же люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, моют на кухне грязные тарелки. И на это, на праведность этого стыда нечего возразить. Красота? Дело даже не в бархатных платьях или подоткнутых грязных подолах, дело в том, что Анна не могла бы так изящно любить и мучить Вронского, не носи она этих платьев с детства. А если все равны, если все имеют право на то же самое, то бархата на всех не хватит, и придется нам остаться с грязными подолами, во всех смыслах, дословном и переносном.

Как трагичен этот вопрос. В какую глубину уходит он корнями. К каким отказам и отречениям мало-помалу ведет. Но можно ли без кощунства произнести слово «Бог», или хотя бы только слово «культура», если усомниться хоть на миллионную долю секунды, что все равны, что в доступе к духовным и жизненным благам все должны быть сравнены, какой бы ценой ни пришлось за это платить.

Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!

Доказательств нет. Но ведь не все же надо доказывать. Достаточно взглядеться повнимательнее: позднее

утро сейчас, солнце взошло уже высоко, и все слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд, Тайна осталась на самых низах культуры, иногда на самых верхах ее, но в воздухе ее нет, и нельзя уже навязать ее миру. Будет трезвый, грустный день. *

Мережковский кричит: «Кем же надо быть, чтобы оставить Его в эти дни?» Увы, увy, это лишь полемический прием, один из тех, без которых в таких делах лучше бы обойтись. Ответ несомненен: кем надо быть? — подлецом. Возражающий посрамлен и умолкает. Но дело не в оставлении «Его», не в личном предательстве, о нет: можно быть верным, не надо быть слепым, можно ужаснуться грядущей пустоте в душах, бессмысленно все-таки ее отрицать. И честнее, мужественнее подумать: чем же пустоту заполнить? «Что делать нам и как помочь?». Мережковский брезгливо упирается, опасливо прячет голову в подушку, сочиняет как ни в чем не бывало новые догматы: старых ему очевидно мало. От уверенности, что обладает истиной, он-то может быть и предает ее: в темных углах, по одиноким душевным убежищам еще прячется она, отступая, бросая все за собой, и не до догматов ей! Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, — тогда все рвалось вперед, а сейчас впереди ничего. «Осанна сыну Давидову»: последние пальмы, последние слабеющие руки тянутся вслед Ему, и уж какие тут догматические увещания и споры, будто на вселенских соборах, если исчезает дух, тема образ.

«Мы свой, мы новый мир построим». Лично — отказываюсь (не о себе: «я» предполагаемое). Остаюсь на той стороне. Но не могу не сознавать, что остаюсь в пу-

* Это писано лет тридцать пять тому назад, и теперь, после долгожданного оживления Церкви, после папы Иоанна и второго Ватиканского собора, это может показаться ошибочным. Дай Бог, чтоб ошибочным это и было! Но не оттого ли Церковь и очнулась от забвения, не оттого ли содрогнулась, что опасность стала слишком уж очевидной и близкой?

стоте, и тем, другим, «новым», ни в чем не хочу мешать. Хочу только помочь. Удивительно, что Мережковский не захотел понять потустороннего риска христианства, и пристыдив подлеца-собеседника насчет «оставления Его», не заметил, что даже и в религиозном плане, с допущением проникновения во всякую мистику и метафизику, ставка христианства может быть проиграна. Ибо в конечном счете «подлец» говорит: «не люди, — Бог против Него, не может быть, чтобы сотворивший мир хотел испепелить его, не может быть, чтобы этот вызов всему всемирному здоровью или благополучью был в согласии со всемирной жизненной волей...» И так далее. И тут же евангельские цитаты: блаженны нищие, — отчего именно нищие? блаженны плачущие, — отчего только плачущие? отчего вообще блаженны неудачники? И непонятный, навсегда непонятный рассказ о блудном сыне, окончательно, если вдуматься, взрывающий все вверх дном! И богатый юноша, который не случайно же «отошел с печалью». И наконец — последнее: «кто не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»! Одиночество Христа тут и обнаруживается вполне. Не люди оставляют Его: природа, мир отказываются подчиниться Ему. Последний, предсмертный стон на кресте: «Боже мой, Боже мой...» еще не утратил значения, и если уж быть Ему верным, то «нельзя в это время — то есть до конца дней — спать», как дрожащей от волнения и любви рукой писал Паскаль. Надо согласиться на все: даже и умереть с Умершим.

Не опровергнуто христианство, конечно. Но испускает дух, выдыхается, изошло за два тысячелетия всеми своими силами и всей страстью. Сейчас мы смотрим вслед ему, — смотрим, и не можем оторвать глаз. «О,

свет вечерний!» Единственный свет, никогда такого не было, надо бы на колени стать, провожая его.

Но слепота ничему не поможет. Даже и подумать нелепо, чтобы сейчас можно было опять вдохнуть его в кровь человечества, и, например, поднять какие-нибудь новые крестовые походы. Кровь по другому кипит теперь, о другом кипит. Сейчас люди лишь до-любуют это, до-веровуют, до-думывают, и если в некоторых душах христианство действительно будет (или должно бы) жить вечно, то лишь в разбитых и растерянных душах, таких, которых жизнь хорошенько потрепала перед этим. В выбывших из строя, словом. Тогда они вспомнят: «блаженны нищие» — и поймут. Удивительна в Евангелии именно эта победа над безнадежностью: нет положения, из которого по Христу не было бы выхода, нет «дна» вообще. В этом смысле — нет смерти.

Кстати, у Мережковского приведено незаписанное, отвергнутое Церковью изречение, — в дополнение к тому, известному, что «если двое соберутся во имя Мое...»:

— Где и один человек, Я с ним.

Будто торопливая, запоздалая поправка, в ясно-видящем и милосердном понимании того, что бывает иногда человеку нужно. Церковь должна была эту поправку отвергнуть: она подрывает самое ее основание. Но все очарование христианства в этих словах. Нечего больше сказать.

Веяния подлинности. — Наука, признавая существование Христа, почти ничего о нем не знает. «Он неуловим», заметил недавно осторожный Рейнак. То же утверждает Луази.

Но избыток осторожности умерщвляет самую возможность знания. Случается, перечитывая Евангелие,

останавливаешься, и пораженный, говоришь себе: этого не могло не быть! Есть у всех четырех Евангелистов такие «проблески», в особенности у Марка. Читаешь в сотый раз, почти ничего уже не видя, и вдруг каждое слово становится по новому ясно.

Рассказ о Крестной смерти:

— В десятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лима савахвани!», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил!» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «вот зовет Илию».

То же повторено у Матфея.

Невероятно! Как мог я столько лет читать и знать это, ничего не замечая! Ведь если этого не было на самом деле, в простейшей и реальнейшей действительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «некоторых», может быть тугих на ухо, которые не расслышали и сказали: «вот зовет Илию». Можно ли у литературно-простодушного Марка предположить такой профессионально писательский опыт, чтобы выдумать этот «штрих», ни для чего абсолютно не нужный, кроме как для беллетристической живости, которую он не мог же ценить! Ведь так сочинять в пору умелому теперешнему бытовика, Тригорину какому-нибудь... Значит — было. Марк не заботится о картинности. Марк записал то, что знал: эпизод, почти анекдот, не имеющий никакого значения, как собирал и другое. Значит было, все было: по одному слову убеждаешься в целом.

Он говорил с людьми решительно обо всем. Но Он ни разу не сказал им, что надо быть честными. Нагорная проповедь, заповеди блаженства. Представьте себе в них: «Блаженны честные». Невозможно! Будто какой-то барабан вторгается в райские скрипки: все меркнет, все проваливается и умолкает. Невозможно!

Но Рим и здесь одержал над Ним победу. От всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обещены», идет прямая соединительная нить к какому-нибудь нашему седоусому, грозноокому орлу-полковнику, который не моргнув, подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер:

— Иди, застрелись. Это твой последний долг.

И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью, смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почитательно восхищено. Это Рим в чистейшем виде, в самом высоком виде его. От Христа здесь не осталось ничего, и хотя наш полковник вероятно ходит по воскресениям к обедне и лобызает золотой крест, выносящий его приятелем-батюшкой, все-таки он душой всецело с Цельсием, со всеми теми, кого ужаснуло когда-то христианство, как безумие и ужас. Если бы ему это сказали, он удивился бы, ибо привык чтить все установленное веками: как же ему враждовать с церковью? Глухой, длительный, кропотливый реванш Рима произошел негласно, «под самым носом» церкви, при ее попустительстве или в редчайших случаях под ее беспомощные, грустные вздохи. Надо было вновь укрепить и скрепить расшатывавшийся мир, нельзя было признать, что над идеалом общественно-нужным вознесен идеал общественно-неясный и опасный. «Долг выше всего, честь выше всего». Человек нашего времени повторяет это, как непререкаемую истину. Даже если он не в силах этим принципам полностью следовать, то не позволяет себе в них усомниться, и в безмятежном неведении своем опять толкает забытого, мнимочтимого Учителя на «второе пропятие».

По Христу все это не существенно. Он не против, но Ему некогда о таких вещах думать. «Воздадите кесарево . . .» Да, конечно. Но это наверно не выше всего. Разбойник, которому обещан был рай, честным не был.

Из писемь А.

Тема Пушкина не дает мне покоя. Вернее тема «Пушкин». Тема искусства. Бывает, мне хочется погрозить ему кулаком, «ужо тебе!», как Евгений Петру в «Медном Всаднике». А потом принимаюсь читать — и мало-помалу все забываю, сдаюсь.

Чудный и грешный поэт, «несчастный как сама Россия», по чьему-то верному, — не помню, кто сказал, — слову. Непонятно, когда это успели накурить ему столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего уже и не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно, спокойно. «Поклонник Пушкина, но человек неглупый...» — эту фразу я написал как-то само собой, не сразу заметив ее парадоксальность.

Иногда представляешь его себе, — схематически, так сказать: страшный оскал негритянских, сияющих зубов, не то в усмешке, не то в предсмертном изнеможении, и безвоздушное, черное пространство вокруг, без всяких Богов и утешений. О, как тяжело ему жилось!

Кто-то вполголоса запел в соседней комнате:

Онегин, я тогда моложе,

Я лучше, кажется, была...

Вот услышал я эти строчки, и простите, друг мой, если сентиментально, едва не заплакал, застигнутый врасплох, не успев во время душевно защититься. Не могу без слез этого и читать и слушать. Есть вообще в двух последних главах «Онегина» такая для меня пронзительная, улетающая и грустная прелесть, что не могу ее выдержать. «Пушкин, Пушкин, золотой сон мой». Но послушайте, вот, — это слишком хорошо, и поэтому жизнь уже не вмещается в это. Оттого и грусть. Не уверен, что правильно здесь сказать «поэтому». Но

жизнь рвется мимо, мутным, тепло-рвотным, грязно-животворящим потоком, и я все-таки хочу быть с ней, несмотря ни на что, преодолевая иногда отвращение, и зная, что обратно ее в былую стройную прелесть вогнать нельзя: уже другие элементы вошли в игру, уже явственно звучит другая музыка, и я хочу быть с ней! Поймите, мне иногда мечтается новый «Онегин». Для разума моего он еще невозможен, не могу себе представить его, но сердцем жду: опять все пронизать такой же гармонией, найти всему имя и место, упорядочить данные мира, одно к одному, — и не так, как теперь, не реакционно-музейно, жмурясь от одинокого наслаждения, вдыхая аромат полуувядшего цветка, а всем существом своим чувствуя влагу, еще идущую от земли.

Отсюда переход. Не удивляйтесь резкости скачка, но я всегда об этом, почти только об этом и думаю. Вернее, сразу думаешь обо всем, вместе с поэзией. Ну вот, скажу сразу, банальнее банального: «вперед без страха и сомнения». Или со страхом и сомнением, но все-таки вперед. И не то, что «да здравствует Москва», нет, о, нет, — но да будет то, что будет, то, что должно быть. Не от пассивно-мечтательного безволия моего говорю это, а от морального — насколько оно мне доступно — ощущения времени и бытия. В прошлом было благолепие... Были ли вы когда-нибудь в Версале, зимой, в сумерках, бродили ли по пустым аллеям его? Это — как «Онегин», потому, что здесь жизнь тоже достигла какого-то острия своего, какой-то завершенной формы, и исчезла. Но я от благолепия отказываюсь, отрываю от сердца любовь к нему, потому, что сколько ни вглядываюсь, не вижу других оснований к нему, кроме тьмы. Благолепие держалось на тьме: на выбраковывании всяких шестерок и двоек из колоды, на беспощадном, ювелирном выборе и просеивании материала. Защитники «прекрасного», эстеты истории хорошо это знают, и если революцию они ненавидят с оттен-

ком презрения, то не столько за казни и грабеж награбленного, сколько за прорыв плотины. Но друг мой: да будет то, что будет.

Когда-то Александр III заметил, что кухаркиных детей не следовало бы пускать в университеты.

По всей вероятности, с его стороны это было лишь брезгливое брюзжание: полвека спустя еще видишь всю сцену, хорошо знакомую по общей российской атмосфере, еще слышишь скрип тяжелого высочайшего пера, накладывающего «резолюцию». Но инстинкт самосохранения сказался здесь в полной мере, заменив проницательность ума.

Безошибочный, неумолимый расчет: увеличение знания, распространение его в ширину должно было неминуемо привести к «потрясению основ». Не только блекнул ореол царского помазанничества, священного уже только для некоторых чистосердечных чудаков или для толпы бессовестных публицистов (вспомните «Новое Время в 1917 году»), но и вставал вдалеке, за всяческими свободами, призрак социального переворота. Всем все разделить поровну: едва только человек поймет, что он имеет на такой дележ право, — а не понять этого он рано или поздно не может, — как будет его требовать и к нему стремиться. Нельзя поровну разделить, так хоть владеет сообща: иначе всем по справедливости разместиться на земле невозможно. Усилия власти, которая этого страшилась, должны были быть направлены к тому, чтобы те, нежелательные, кухаркины дети, подольше ничего не понимали, — и потому-то русская монархия и была давно обречена, что у нее не было силы и смелости противостоять общей тяге века к образованию. Резолюция Александра III вызвала осуждение везде, даже у самых благонамеренных людей, которые наивно представляли себе

светлое будущее в таком виде, что повсюду откроются школы, мужички будут по вечерам читать газеты при свете электрических лампочек вместо лучин и благодарить доброго царя. Монархия сидела на двух стульях — и провалилась в небытие. Тысячу доводов найдут вам в ответ, чтобы сбить с толку: не обольщайтесь, это именно так, в грубой простоте своей. Просвещение работает на левизну, неотвратно.

Вообще свет идущий от человека — левый. Божий... ну, это не по моей части, на это есть специалисты, считающие себя главноуполномоченными Господа Бога на земле. Ничего бы я против них не имел, если бы только были они менее изворотливы и самоуверенны.

О советской России.

Множество недоумений. Хотелось бы задать множество вопросов, — но кому? Первое насчет того, что нам отсюда кажется притворством и бесстыдством: насчет полного исчезновения «фрондирования», насчет заведомого доверия к новым авторитетам и согласия всех со всеми. Затем об огрубении и опрощении, особенно ясном в литературе. Что было неизбежно и по-своему, значит, оправдано, что должно быть отвергнуто? Много, многое и другое.

Наконец последнее, самое важное. Сталин об этом вероятно не думает, не думал и Ленин... хотя, сидя в Кремле, когда-нибудь ночью, после докладов и совещаний, чувствуя все-таки ответственность за все, что было сделано, и за то, что будет сделано, неужели мог он ни разу не побеспокоиться, ну, ни на одну минуту, ни на одну секунду об этом, именно об этом? Неужели ни разу не спросил он себя: а что же дальше? Отлично, водворится коммунизм, безклассовое общество, придет полное разрешение социальных проблем. А дальше? В планетарном, так сказать, масштабе? Что будет с чело-

веком, что будет с миром? А если Бог все-таки есть? А если страдание неустранимо, и не стоило, говоря по-просту, огород городить? И как говорил Толстой, «после глупой жизни придет глупая смерть», тоже в планетарном масштабе? Была пятилетка. Но есть ли тысячелетка? В смутных, смутнейших чертах существует ли истинный план, возможен ли он, или игра ведется вслепую?

Пишу и ловлю себя на мысли: в сущности, какое мне дело? «Смерть и время царят на земле». Умру, ничего не буду знать, значит — пей и веселись, пока можно. Но нет, мне не безразлично, что будет после меня, не стану же я сам себя обманывать. Вероятно правда: жизнь одна везде, всегда.

Иногда думаешь: неужели это совершенно невозможно? Неужели все это исчезло навсегда, и нельзя никак, никаким способом все вернуть в России к тому состоянию, о котором многие в эмиграции так горько и бескорыстно мечтают?

Чтобы опять зазвенел валдайский колокольчик над тройкой, в темном, вековом лесу, и ямщик, ну конечно в «красном кушаке», насвистывал песню. Чтобы мужики в холщевых рубахах кланялись в пояс редким проезжим. Чтоб томились купчихи на перинах в белокаменной Москве под смутный, протяжный гул колоколов. Чтоб в сумерках, на глухой станционной платформе, шептались гимназистки, под руку, от поезда до поезда, с тургеневскими думами в сердце и тяжелыми косями, а вдалеке гасла узкая, желтая полоска зари. Чтоб свободно и спокойно текли реки, чтоб утопали в прохладных рощах синеглавые в звездах монастыри и гостеприимные усадьбы. Чтоб воскресла «святая Русь», одним словом, и настала прежняя тишь да гладь, прежняя сонная благодать.

Надо было бы сжечь почти все книги, консервативные или революционные, все равно, закрыть почти все школы, разрушить все «стройки» и «строи», и ждать, пока не умрет последний, кто видел иное. Надо было бы на много лет прервать всякую связь с зараженным миром, закрыть все границы: это бред, конечно, это невозможно, но я говорю предположительно... После этого, когда улетучится всякое воспоминание об усилиях и борьбе человека, да, тогда пожалуй можно было бы попробовать свято-российскую реставрацию. В глубокой тьме, как скверное дело.

Блок: «Да, и такой моя Россия, ты всех краев дорожешь мне». Верно: «и такой»! Как почти всегда, Блок прав. Но в сущности он еще любовался прошлым, а нам теперь труднее: то, новое, чуждое, нам незнакомое — будто уже и не совсем Россия. Что же делать! Оставим все-таки мертвых хоронить мертвецов.

В оправдание стихов.

Конечно, никакого влияния, ни на кого, ни на что. В журналах — балласт, и если редакторы еще печатают их, то лишь из боязни прослыть некультурными: редакторы пошли нынче всепонимающие, всепрощающие, «Аполлон» победил «Русское Богатство», редакторы захлебываются: «помилуйте, мы приветствуем все красивое», и даже втайне озабочены, чтобы материал солидный, серьезный украсить такими виньеточками. Полная незащитность от упреков, которые делать легко и эффектно. «В наше время, когда...», — так пожалуй люди литературно-грамотные уже не пишут, но внутренне все остается по прежнему: мы, умницы, руководители общества, заняты делом, вы, лодыри, дайте же нам хоть поэзию, нас достойную, — и скрытое, инстинктивное злорадование от сознания, что требование невыполнимо, что «вы», то есть лодыри, с вашим не-

понятным, смутно-тревожным бредом в голове, будете все-таки неизбежно уличены в дармоедстве.

Но ведь стихи всегда незащитны. По совести: кому они нужны, в жизни, для «жизнетворчества», для работы и бодрости, — кому? Все идет мимо. Не будем же лгать оставшись с глазу на глаз: это — лунное, тихое дело, не надо на него нападать. Это — два слова там, два слова здесь, — еле заметно, не всегда внятно, — которые два сердца, два слуха то здесь, то там уловят. Прогресса не было в поэзии, не будет и упадка. Два слова, две-три струны, будто задетые ветром. И ничего больше. Остальное — для отвода глаз, для прикрытия слишком беспомощно-нежной сущности, и ничего больше. Круговой порукой мы это знаем, и даже пожалуй, чем дальше, тем лучше знаем. Сейчас я ошибся и не то сказал: прогресс есть. Человек учится выбирать и ощущать, время точит душу, поэзия освобождается от трескотни, становится чище и тише. Другого ничего не может быть, не должно быть. Критические фельетоны об упадке необходимы, потому, что иначе, без этого общего склада и стиля, нельзя жить: здесь нельзя жить. Но поэзия не здесь, а туда и оттуда. Кроме того: есть у человека дневные мысли, и есть ночные... Узкий дымок. Два три слова, которые мы все-таки лучше слышим теперь, чем сто лет тому назад.

Ходасевич считал лучшими стихами Пушкина, — и вообще во всей русской поэзии — гимн чуме.

Спорить трудно. Стихотворение действительно гениальное. Будто факел, светящийся над нашей литературой.

... Бессмертья, может быть, залог!

Да что тут говорить, гениально. Не факел: солнце.

Но... в этих стихах есть напряжение. В этих стихах есть пафос, который, может быть, холодней внут-

ри, чем снаружи. Как трудно это объяснить, не наговорив глупостей! Ведь вспоминая такие стихи, даже такие, гениальные, невольно спрашиваешь себя: а нет ли тут декламации, хотя бы в сотой, тысячной доле? При таком подъеме может ли каждое слово быть одухотворенно? Яркости вдохновения в точности ли соответствует первоначальный огонь? Короче, проще: реальна ли сущность этих стихов, и так ли богата человеческая душа, даже душа Пушкина, чтобы реальность эта была возможна?

Сомнения растекаются вширь. Но у того же Пушкина ни «Песнь председателя», ни «Пророк» не заменят мне стихов другого склада, грустных и ясных, как небо. Если бы нужно было назвать «лучшие» пушкинские стихи, я пожалуй прежде всего вспомнил бы то, что Татьяна говорит Онегину в последней главе романа: «Сегодня очередь моя...»

Это такое же волшебство, как и гимн чуме. Но еще более таинственное.

По поводу «Пророка».

С оговорками и поправками, при живости фантазии, можно представить себе, что «Пророка» написал бы Гоголь. Можно представить себе, что «Пророка» написал бы Достоевский, столь вдохновенно его декламировавший. Но никак нельзя себе представить, чтобы «Пророка» написал Лев Толстой, — хотя кто же был «духовной жаждою томим» сильнее его?

Это не простое расхождение в характерах. Тут скрыт важнейший спор, и в споре этом правда полностью на стороне Толстого.

„Du choc des oppinioins jaillit la verité“.

«Из столкновения мнений возникает истина».

Казалось бы, так это и быть должно. Но на деле почти никогда в спорах не «возникает» ничего, и даже то небольшое, что до спора было ясно, двоится и отступает вдаль.

Как люди спорят? Истина могла бы обнаружиться, или хотя бы ненадолго блеснуть, если бы в споре мы именно о ней думали, — о ней, то есть о предмете спора. Но сам того не замечая, не отдавая себе отчета, каждый из нас, втянувшись в спор, думает исключительно о том, как бы лучше возразить противнику. Как бы противника посрамить. Как бы выйти из спора победителем. Задор затуманивает сознание. Быв на своем веку свидетелем, и к сожалению участником, многих споров, не помню, чтобы кто-нибудь в пылу прений задумался, уступил, признал свое заблуждение, сказал: да, вы правы... А ведь если бы спорящие действительно были озабочены отысканием истины, это должно было бы случиться тысячи раз! Но спорящие озабочены личным своим торжеством и воюют «до победного конца», чего бы конец этот ни стоил.

Наши настоящие мысли о чем-либо мало-мальски значительном и отвлеченном большей частью похожи на облака: они волнисты, зыбки, переменчивы. А в споре мы придаем им видимость стали. Колебания, противоречия одно за другим отбрасываются, забываются, как исчезает и понимание того, что может быть в противоречиях истина и таилась.

Никогда не спорить. Во всяком случае никогда не относиться к спорам иначе, как к развлечению, как к игре. Блок хорошо сказал: «тихо жить и тихо думать».

Дневники.

Дневник Поплавского, например.

«Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай мне силы...»

Постоянное мое недоумение. Как можно так писать? Если это действительно обращение к Богу, зачем бумага, чернила, слова, — будто прошение министру? Если это молитва, как не вывалилось перо из рук? Если же для того, чтобы когда-нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства?

Не осуждаю, а недоумеваю, — потому, что у Поплавского бесстыдства не было. Да ведь и не он один в таком духе писал. На днях я прочел то же самое у Мориака. Не понимаю, и только! Не могу представить себе состояния, которое оправдывало бы переписку с Богом. Отчего тогда не пойти бы и до конца, не наклеить марки, не опустить в почтовый ящик?

Одно из последних, поздних и потому вероятно самых основательных впечатлений от Запада, после многолетнего сидения «на берегах сенских», есть его... Ставлю многоточие, не находя верного слова. Может быть найдется оно потом.

Неуютность? Да, но слово это лишь при безошибочном ощущении оттенка приобретает нужный смысл, — а иначе получается чепуха, да еще с позорным, мелко-обывательским привкусом. Париж, вообще то говоря, «уютнее» большинства русских городов, и уж наверно уютнее Петербурга. В Париже есть чувство меры, чувство размеров, которое там было потеряно, в соответствии, правда, с самой природой и будто под влиянием слишком широкой для городского пейзажа, слишком мощной и многоводной, какой-то океанской Невой. Петербург при сравнении с Парижем остается только чер-

новиком или наброском города, но в черновике этом все же есть что-то более размашистое, грандиозное, с налетом холодноватого, бесполезного и чуть-чуть унылого величия, которого в Париже нет и в помине... Но обо всем этом — мимоходом. К слову пришлось, и само по себе интересно, но не относится к теме.

Неуютно и жутко в Европе потому, что после России всякий человеческий голос кажется в ней «гласом вопиющего в пустыне». Не в смысле какого-либо, морального очерствления, не по чванливому сопоставлению с нашим мнимым духовным превосходством, — совсем нет! Просто по густоте и сложности всяких культурных и бытовых сплетений, по невозможности что-то выделить в этой неразберихе, или еще проще: потому, что здесь разрушена (а может быть, по новому создается) связь количества и качества. В Европе все меньше остается возможности для истории в «иловайском» значении слова, — потому, что в ней исчезают объединяющие факты. И невозможна в ней жизнь, к которой привыкли мы в прежней России, с организованностью основных впечатлений, общественных и всяких других. «Все течет».

Факты и явления перестают здесь быть остовом расползающихся жизненных форм: ни один из них ничего не определяет и даже не отмечает. Жизнь несется мимо сознания, не успевающего не только понять ее, но даже рассмотреть... В России мы жили как бы в комнате, в квартире, в доме, в помещении, куда нельзя было без звонка войти, где каждый пришелец обращал на себя внимание. В России мы могли жить «задумчиво», еще не замыкаясь в самих себя, не затыкая уши. Здесь люди очутились на выставке, на митинге: все распахануто, слышен только невнятный гул, в котором тонут отдельные голоса.

Вникая дальше: приходится значит сказать, что Россия была еще провинцией по сравнению с Европой, и мы, как провинциалы, ошеломлены столичной суто-

локой. Опрометчиво было бы что-либо тут осуждать, ибо Россия шла и тянулась к тому же, к той же полифонии бытия, и только не успела прийти. Да осуждение и морально недопустимо, ибо наш сравнительный уют, — то есть одностебельность, одностройность нашей культурной жизни, — уходит корнями в вековые российские ограничения, в отталкивание, в оттискивание основной толщи народа от «ценностей», которые ему будто бы не по зубам (на самых верхах — откровенно цинично, пониже, — из кругов «просвещенных» — лицемерно, во имя идеалов, которые будто только мы одни, социально привилегированные, и способны хранить в силу особой нашей тонкости, с тем чтобы со временем, — но только со временем! — передать их бедненьким, темненьким нашим братьям) . . . Если же раз навсегда отказаться от ограничения прав на то, что мы для себя считаем благом, — как от дела, которому можно искать, но нельзя найти оправдания, — общая путаница и вавилонское столпотворение становятся неизбежны: вопрос только во времени. Наш уют вовсе не был нам дан, как благодать. У нас, над безмолвным русским океаном, культурный слой держался только потому, что к «храму» простой народ не подпускали, — очевидно, чтобы «не потеснить гуляющих господ». Возвышенные помыслы о великом, одухотворяющем значении «элиты» убаюкивали совесть.

В России еще нельзя было говорить о распаде личности. Здесь же это так очевидно, так непостижимо, — и что страшнее всего, так закономерно в смысле исторической неизбежности, — что от зрелища кружится голова . . . Основное, глубочайшее, конечно, — исчезновение или убыль христианства, и роковая пустота, «в сердцах восторженных когда-то». Но и помимо этого, человек не выдерживает постоянного пребывания на выставке, на митинге. Утончаясь, обостряясь, усложняясь в каждую отдельную минуту, он раздроблен на тысячи частиц,

он как бы взвивается брызгами, клубится пылью по ветру, и не в силах восстановить свое единство.

Так вот, что может быть значило: «холод и мрак грядущих дней».

Пример.

Проповедь Толстого — очень важное явление в духовной жизни России, не только сама по себе, во внутренней и абсолютной своей ценности, но и как «фактор» в нашей истории. По существу она и теперь так же важна, как прежде. От нее можно отмахнуться, «старик блажил», но разделаться с ней не легко.

Однако эту несомненную, подлинную важность полностью уловить уже невозможно. Она уже не совсем «доходит», будто порвались какие-то провода. Ее только чувствуешь, воспринимаешь издалека, но она бездейственна.

Толстой проповедывал в России предвоенной, предкатастрофической, тихой и патриархально-провинциальной. Казалось, тишина водворилась навеки. Нечего стало делать, естественно было подумать о душе. Толстому страстно откликнулись современники: земские врачи, интеллигенты, даже генералы, растерявшие в общей спячке былую воинственность и безмятежно размечтавшиеся по всяким управлениям и интендантствам. Россия слушала Толстого: он давал ей выход, порыв, волнение, тему существования.

Но сейчас выходов, волнений, тем — хоть отбавляй. Тысячи возражений, тысячи случаев, когда в игру вошли совсем новые элементы... Человек оглушен. Надо бы снова стать земским врачом, но мы уже не земские врачи, и нам невозможно собрать то, что рассыпалось, воскресить былой душевный строй и стиль. Толстой со своей нужной правдой уходит в прошлое, а жизнь летит мимо, «без руля и без ветрил».

Искусственная, насильственная и потому призрачная — цельность: коммунизм и прочее.

Ничто не разрешено, ничто не устранено, а сколько внутренних уступок и жертв! И какое оскудение! Литература есть одно из немногих человеческих дел, с которыми несовместимы обольщения, обманы, иллюзии. Поэтому с такой цельностью ей нечего делать: она от нее бежит, если только не впала в детство.

В стороне, задумавшись, она спрашивает: уверены ли вы, что у вас, в разнообразных ваших строительных действиях действительно есть цель? Конечно, общество, которое как будто чего-то хочет и куда-то идет, всегда будет казаться богаче и творчески сильнее того, которое ничего скопом не хочет и никуда не идет. Но может ли общество иметь одну волю? Должно ли он «идти»? Не мираж ли — общее дело, общая цель? В чем эта цель? Не снизу ли возникает творчество, чтобы затем, в единичных случаях, дорасти до общего понимания и признания во всей своей личной, неповторимой живой прихотливости, вместо коллективного равнения по правофланговому? И не окажется ли в конце концов, что больше движения было там, где как будто все стояло на месте, разлагаясь, «загнивая», но по крайней мере не играя в грубую, жестокую и финально-бессмысленную игру с лучшими человеческими надеждами?

Это все, может быть, очень современно, органично, стихийно. Это увлекает «массы».

Но если говорить о творчестве . . . оставьте творчество, господа! Товарищи, оставьте литературу. Да, вы можете создать недурные, даже блестящие, «полнокровные» романы, отразить, описать, показать. В критических разборах вас будут хвалить, анализировать. Типы недоработаны, что же касается языка, то язык образный, «сочный» — и так далее.

Будем однако говорить серьезно: литература — не ваше дело. А если она у вас как будто много дает, то лишь потому, что вы от нее мало требуете. Устроить такой «расцвет» право не трудно, но ни вы ей, ни она вам не нужны. Литература возникает в «темном погребении личности», в вопросительно-лирических сомнениях, в тревоге, в мучениях, в безотчетной любви, и уж конечно без барабанного боя. Кто бы ни победил в житейской борьбе, *ваша* книга рядом с *другой*, настоящей книгой будет всегда глупа и груба, и всегда найдется кто-нибудь, кто это поймет.

Вот стихи:

Оставь меня. Мне ложе стелет скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе?

Рифмы обыкновенные. Образы тоже не Бог весть какие оригинальные. Но после этого, после того, что человек нашел такие звуки, дослушался до такой музыки, все ваши типы и проблемы, все оптимистические полотна и идейно-насыщенные романы, все, все — пустота, скука и ничтожество. Я едва не написал крепкое русское словечко, для печати непригодное . . . Впрочем, Пушкин его любил.

И еще: это мы говорим не в припадке безнадежного, декадентски-хмельного восторга, с готовностью тут же сдать позиции. Нет, с твердым сознанием торжества и победы.

Было это в середине прошлого века.

Жила в Лионе молодая и богатая женщина — мадам Гранье. Сохранился портрет ее: глубокие, темные глаза, улыбка, легкая рука в браслетах, небрежно лежа-

шая на спадающей с плеч шали. Почти красавица. Мадам Гранье считала себя счастливой: муж, двое маленьких детей, любовь, спокойствие, верность. Но муж заболел раком и умер, а за ним в течение одной недели умерли и дети. Первой мыслью было — покончить с собой. Но самоубийство отталкивает натуры чистые и сильные, и мадам Гранье решила жить.

Не для себя, конечно: все личное было кончено, — а с тем, чтобы кому-нибудь быть полезной. Деньги свои она роздала и стала ухаживать за больными. Но больные больным рознь: мадам Гранье искала безнадежных, одиноких, всеми забытых. Услышала она как-то про нищенку-старуху, страдавшую раком лица, и пошла ее проведать. В подвале, на гнилой соломе лежал «живой труп», издающий нестерпимое зловоние. Ни глаз, ни носа, ни зубов — сплошная кровоточивая рана. Мадам Гранье промыла старухе лицо, кое-как одела и привезла ее в госпиталь. Врачи и сиделки отшатнулись и не пожелали иметь дело с больной: никогда они такого ужаса не видели... Мадам Гранье убеждала, просила, умоляла их, и наконец, чуть не плача, сказала: «да что с вами? чего вы боитесь? посмотрите, как она улыбается», и прижалась к старухе щекой к щеке, — к гнойной багровой язве, — а потом поцеловала ее в губы.

История эта, — напоминающая флоберовского «Юлиана», — была недавно рассказана в одной французской газете. В память мадам Гранье основано общество „Les Dames du Calvaire“.

Все, что делают люди и все, чем они живут, похоже по форме на конус или на пирамиду: внизу, в основании — площадь огромна, и всякой отрасли легко найдется свое место. Наверху все сходится. Что такое литература, что такое искусство? Я прочел рассказ о мадам Гранье и подумал: искусство должно быть похоже на то, что сделала она. Не в сострадании дело, а в по-

беде над материей, в освобождении. Скрипки Моцарта поют об этом. И Павлова иногда была об этом, сама ничего не зная и не понимая. «Бессмертья может быть залог»: иначе не скажешь.

А. когда-то заметил:

Есть понятия римские — и есть иерусалимские. Других нет.

И добавил: да не будет же Иерусалим побежден!

Он думал о христианстве, конечно: о том, почему «заповедь новая» была действительно новой, и о том, что без нее мир груб и пуст, — хотя бы никто ни во что уже не верил, хотя бы осталось у людей только немного чутья, понимания и памяти.

Да не будет же Иерусалим побежден! Загадочность «еврейского вопроса» в том, что вместе с мировым пожаром, который евреи зажгли, родилось и мировое сердце. Без их вклада мир не то что пресен — мир черств. Наша святая Русь в лучшие свои моменты перекладывала на мягкий славянский лад старые, чудные, вдохновенно-дикие еврейские песни, и забывала, что сложила их не она.

«Ум ищет божества, а сердце не находит».

Как это странно сказано у Пушкина. Казалось бы, наоборот. Ум «не находит».

Христианство в догматической и метафизической своей части не то, что невероятно: оно неправдоподобно. Если человек взглянет на мир как бы в первый раз, без всякой предвзятости и забывая все, чему его научили, он не может не покачать головой, со смущением, с грустью: едва ли, едва ли! Едва ли — это. Мир текуч, безграничен, расплывчат внешне и внутренне, а это

слишком уж стройно, слишком уж складно, со вступлением, изложением и заключением. Природа не в ладу с христианством не потому, конечно, что изучение природы его отвергает, а потому только, что она к нему никак не ведет, никак не располагает. Нет связи: пропасть. Природа, как она открывается в опыте, не драматична, не мистериальна. Христианство создалось будто в каком-то воспаленном сознании, а природа возвращает к спокойствию... Кажется, именно это оттолкнуло Гете, так таинственно с природой сроднившегося, — хотя за два года до смерти он и сказал канцлеру Мюллеру, что «это не может быть превзойдено». Но только морально.

Вероятно и Льву Толстому его глубокая интуиция всего жизненного, животного, природного, помешала стать вполне христианином, — что отчетливо чувствуют даже самые ревностные его поклонники, не придающие значения разладу с синодом и другим недоразумениям. Звук, скрытая сущность толстовских писаний — вне христианства, как бы он к нему ни рвался. Толстому противопоставляют Леонтьева или Соловьева. Но им было легко, у них не было и сотой доли его чутья и опыта, им нечего было преодолевать. А Розанов, единственный, у которого был нюх, кое в чем не уступавший толстовскому, так всю жизнь и проколебался, чувствуя, как никто, все «да» и «нет».

Но все-таки — «это не может быть превзойдено». Беречь, хранить, охранять стоит только это, — если человек не окончательно еще отупел, не окаменел, не выродился, не сошел с ума.

Непротивление злу у Достоевского.

Тема на первый взгляд парадоксальная. Самое соединение слов звучит парадоксально и может даже вызвать предположение, что вместо одного знаменитого

имени по рассеянности названо другое. Оба имени ведь постоянно сталкиваются, оба стали частями единого, почти нераздельного нашего целого.

Но нет, ошибки нет. А хочется мне сказать на эту тему несколько слов потому, что перечитывая «Легенду о Великом Инквизиторе», внезапно я был поражен мыслью, никогда прежде мне в голову не приходившей: что такое в «Легенде» этот финальный поцелуй, в ответ на монолог, в котором «зла», злой воли, насмешливого и высокомерного мирского расчета более, чем достаточно, — что такое этот поцелуй? Разве не непротivление в чистейшем его виде?

Конечно, можно возразить, что Достоевский, приписывая Христу поступок, с учением о непротivлении злу находящийся в полном согласии, личной ответственности за него не принимает. Суждения Достоевского почти всегда дwoятся, и во всем том, в частности, что говорит или рассказывает Иван Карамазов, отчетливо отражен спор автора с самим собой. Достоевский предполагает, допускает многое такое, что повидимому не решился бы утверждать.

Важно однако не это.

Важно то, что по Достоевскому Христос должен был именно так поступить, вместо всякого сопротивления, вместо всякого действия, — и значит содержание и смысл евангельской проповеди он, Достоевский, истолковал в согласии с Толстым.

Все возражения, делавшиеся Толстому, возражения, в которых апелляция к Достоевскому, безотчетная или сознательная, чувствуется постоянно, сводились именно к тому, что Христос сказал не совсем то, что соответствует точному смыслу его слов: буква евангельского учения — будто бы одно, дух — совсем другое... Именно эту мысль развивал, и с полемической точки зрения блестяще развивал, с присущей ему, в нашей литературе почти беспримерной находчивостью Влади-

мир Соловьев, будто припертый к стене, принужденный изворачиваться, лишенный возможности отрицать, что о непротивлении злу в Евангелии сказано вполне внятно и ясно. Буква — одно, дух, видите ли, нечто совсем другое: более удобного довода нельзя и найти, ибо после того, как «буква» отброшена, поле свободно, и «дух» мы вправе выдумывать какой угодно, в соответствии с нашими потребностями, вкусами и взглядами. Несомненно, Достоевский не хуже Соловьева понимал страшный житейских риск, связанный с «буквальным» истолкованием Евангелия и практическим применением евангельской проповеди, что иногда и побуждало его высказывать мысли иного рода, — правда, охотнее и откровеннее в «Дневнике писателя», чем в романах, то есть в публицистике, чем в процессе истинного творчества.

Но Соловьев был гораздо последовательнее и логичнее, — что впрочем следует сказать при сравнении его не только с Достоевским, но и с другими нашими «государственно-мыслящими» обличителями католичества. Соловьев — вопреки, например, Тютчеву, оказавшемуся в этой области в жестоком противоречии с самим собой, был если и не на деле, то в сознании и в душе католиком. Соловьев понял сущность, природу и побуждение грандиозного исторического дела, предпринятого католицизмом, взгляделся в источник его — и преклонился перед ним.

У Достоевского тут произошло недоразумение: вместо благодарности Риму, — признавшему, что вольная церковная традиция составляет столь же существенную часть веры, как и слова Христа, — он обрушился на него. Разгадка едва ли в близорукости Достоевского: уж кого-кого, а его упрекнуть в этом невозможно! Более правдоподобно предположение, что по совестливости своей, по чутью своей совести, более обостренной, чем у Соловьева, он отбросил доводы рассудка и в ужасе отшатнулся от основного римского стремления огра-

ничить, обезвредить «безумие» евангельской проповеди.*

Да, Достоевский колебался. С одной стороны тянуло его к тому, чтобы вслед за Тютчевым обозвать папу «ватиканским далай-ламой», а с другой стороны... с другой стороны — монархия, государство, армия, иерархический порядок, право, наконец — творчество, наконец — вся культура: как же все это могло бы существовать и уцелеть, если бы вечный Рим не устоял в схватке, начавшейся две тысячи лет тому назад, если бы не отстоял он от разгоравшегося пожара самые основания общественного устройства? Достоевский сомневался, колебался. Отважиться на то, чтобы «рискнуть миром» — как по выражению Бердяева сделал это Толстой — он не решался.

Но что Христос сказал именно то, что хотел сказать, что «буква» и «дух» у Христа представляют одно и то же, что даже не соглашаясь с Христом, мы не вправе слова Его перетолковывать, к чему бы они ни вели, — в этом Достоевский очевидно не сомневался. Или вернее, не усомнился в минуту высокого своего просветления.

Иначе, как истолковать поцелуй?

А если иначе истолковать его нельзя, то выходит, что обе наши «духовные вершины» могли бы и договориться, и что во всяком случае были они друг с другом в согласии хоть и скрытом, но более тесном, чем это иногда кажется.

Или чем утверждают те, кто с полувековым опозданием хотел бы и их поссорить.

* Знал ли он фразу Ренана: «История церкви есть история предательства» (или измены — trahison — в «Апостолах»)? Впрочем, по существу для Ренана все в этих делах было безразлично, и не вдаваясь в обсуждение, кто прав, кто виноват, он под личиной исторического беспристрастия лишь «констатировал» со средне-французской антиклерикальной запальчивостью, то, что Достоевского приводило в содрогание.

В наше время мало осталось людей, которые настаивали бы на непримиримой розни науки и религии. Убеждение, что наука все объяснит и что разум всемогущ, вдохновляло век восемнадцатый, вольтеровский, вдохновляло и девятнадцатый век, правда уже несколько смущенный кантовской критикой и менее стремительный в своем порыве вперед. В наши десятилетия однако наука натолкнулась на такие ошеломляющие неожиданности, что волей-неволей принуждена была стать скромнее. Внуки и правнуки Базарова продолжают резать лягушек, но без прежней заносчивой уверенности в том, что обнаружат и поймут тайну жизни. Физики и астрономы продолжают изучать состав материи и строение вселенной, но договариваются до таких выводов, которые в прошлом столетии угрожали бы им заключением в сумасшедший дом, — и чуть ли не каждый день приходится об этом читать и слышать. Кэмбриджская школа астро-физиков, одна из самых авторитетных в Англии, высказала, например, предположение, — не «с кондачка» же, конечно, а очевидно на основании каких-то сложнейших догадок и соображений, — что вся вселенная, во всем ее непостижимо-беспределельном объеме, с мириадами ее светил и туманностей, возникла почти мгновенно, по нашему исчислению в несколько секунд, путем какого-то извержения или взрыва, из одной точки, как из рога изобилия. Иными словами, произошло «сотворение мира», то самое, чему нас учили в детстве, то, которое изобразил на известном полотне Айвазовский, только, пожалуй, без красивого старика, с изящно расчесанной бородой, витающего над безднами... Невероятно! Мысль почти что парализована изумлением. Но очнувшись, сейчас же она идет дальше: а этот первоначальный «рог изобилия», откуда он возник? — и останавливается в недоумении, на которое никакая наука никогда не даст ответа.

Помню, Зинаида Гиппиус смеясь рассказывала как-то о своем разговоре с покойным Минором, удивлявшимся, что некоторые из его друзей ходят в церковь. «Помилуйте, это же в прежние времена люди верили в Бога и в чудеса . . . ну, гром там, или молния . . . воображение и разыгрывалось . . . но теперь же это все давно выяснено!» Лично я Минора не знал, сомневаюсь однако, чтобы он мог быть так допотопно-наивен. Для комичности рассказа Гиппиус вероятно приукрасила его слова. Но очевидно что-то в этом роде он ей сказал, да и как было почтенному позитивисту и социалисту, одному из наших «последних могижан», одному из «стаи славных», блюстителю заветов и традиций, усомниться на старости лет в том, что было для него всю жизнь синайской заповедью? «Царство науки . . .» — и так далее.

Предел однако есть. Разум понял, что он не все может понять, — и в признании этого великая его заслуга, честь и достоинство его, истинный его «патент на благородство», а вовсе не повод к насмешкам, в наше время, к сожалению распространенным. Разум, — и его создание: наука, — не видит больше оснований с верой враждовать, и в лице некоторых подлинных, не доморощенных своих «корифеев» склонны даже протянуть религии руку, что в прежние времена представило бы редкое исключение.

Но вера медлит. Вера — по крайней мере в традиционных своих формах удручена не «ношей крестной», — о, эту ношу она принимает с восторгом и радостью! — а догматическим своим окаменением, разительно-мучительным несоответствием всего своего представления о мире тому, чего современный человек не может не знать и о чем он не может не думать . . . Именно в этом сейчас разлад религии и науки: разлад — в содержании церковной космогонии, и начинается он с того момента, как человек переступает порог церкви, католической, православной, протестантской, какой угодно.

Из состояния взрослого он переводится обратно в состояние младенческое, притом не в евангельском смысле «будьте как дети», а в другом, более элементарном, никакой духовной чистоты с собой не несущем. Нарцательный Минор смешон, но кое-что из того, чему обязан верить человек церковно-поислушный, Минора оправдывает. Однако на деле, как всем известно, обычно бывает так, что человек ходит в церковь, крестится, исполняет обряды, кладет поклоны, а верит лишь «постольку-поскольку», с оговорками и пропусками, ни во что особенно не вникая. Предложите, например, людям выходящим от обедни, ответить честно, искренне, откровенно — верят ли они в реальное существование дьявола. Девять десятых смутится, и если и не ответит твердо «нет», то примется бормотать: «Да, как вам сказать?.. конечно, нельзя понимать дословно...». или что-нибудь в этом роде. Признаем, что и не легко примирить его существование с принципом Божьего всемогущества. Лучше, значит, и не задумываться над тем, чему церковь учит.

Но иные люди задумываются... Да, теперь не подходящее время для новых вселенских соборов, для нового догматического вдохновения, и трудно сказать, что в этой области можно было бы сделать. Глубоко верно и то, что далеко не в одних догматах дело, что угасающее христианское пламя раздуть догматическими поправками нельзя, и тщетно было бы на это надеяться. Для оживления веры нужно было бы нечто совсем другое, — ну, хотя бы то, чтобы папа, «наместник Христа», вышел из своего золоченого дворца и, босой и нищий, отправился проповедывать забытую «благовую весть», как предсказывал Достоевский. Нужно было бы встряхнуть, всколыхнуть человечество, поразить воображение, влить в христианство свежую кровь, а не только убеждать доводами. О догматах пришлось бы подумать потом, позже, хотя значение они все-таки имеют очень

большое . . . Если все оставить, как прежде, разлад будет с каждым поколением расти, церкви будут пустеть, безразличие к христианству будет усиливаться, и останется в конце концов лишь беспредметно-туманная вера во «что-то», в расплывчатую высшую силу, без имени, без лица, без судьбы.

О дьяволе и признании его существования я упомянул мимоходом. То, что в реальность дьявола мало кто верит, сравнительно не так существенно, хотя в общем метафизическом здании христианства это все-таки один из краеугольных камней. Но по характеру своему вся христианская догматика гораздо ближе к представлению, что боги живут на Олимпе, в двух шагах от людей, за которыми должны наблюдать, чем к тому образу вселенной, который возник в новые века. Все в ней отражает убеждение, — да и могло ли быть иначе? — что земля, разумеется плоская, а не круглая, с висящим над ней небом, есть средоточие мира, что солнце вертится вокруг нас, как наш слуга, единственно для того, чтобы нас освещать, греть, — и так далее, и так далее . . . Есть что-то во всех этих картинах комнатное, домашнее, почти игрушечное, и когда вдруг вспомнишь, что где-то, в беспредельно-необъятных мировых пространствах, за невероятной тьмой, за невероятной пустотой и холодом, летят неизвестно куда, неизвестно почему и зачем, другие солнца, в миллионы раз превосходящие по размерам наше солнце, и что свет от них доходит до нас только через миллионы и миллионы лет, и что значит, если мы их и видим в телескопы, то лишь такими, какими они были миллионы лет назад, — когда вспомнишь всю эту ужасающую, леденящую бесчеловечность вселенной, стоя в церкви, то скажешь себе: а ведь, пожалуй, наш Бог, которому мы здесь молимся, — только маленький Бог, подчиненный другим, или может быть равноправный с ними, но не тот, главный единственный, абсолютно-верховный, власть которого распространялась и над находящимися за Млеч-

ным путем мирами во времена, когда самой земли еще не существовало . . . Но мысль эта нестерпима и подрывает веру в корне. Легче для человека не верить ни во что, чем верить во что-то ограниченное и в мировом масштабе как бы уездное. Кошунственная мысль отброшена, человек остается с выбранным им «ничем» . . . Но если действительно жизнь, возникшая на земле, возникла лишь в результате игры слепых сил, как выигрыш в триллионно-квадрильонной мировой лотерее, ни к чему не ведущий и рано или поздно обреченный на бесследное исчезновение, если действительно кроме нас в мире никого не было, нет и не будет, пустота, мрак, клочья материи, глыбы камней, ничего другого, то как не сойти с ума среди всех этих Млечных путей со всей их квадриллионной бессмыслицей?

Вера должна, вера призвана внести некий порядок в это смятение, а между тем церковное представление о Боге, на словах вездесущем и всемогущем, едва-едва переросло прежние понятия о национальных, частных божествах, и даже распространяя Промысл на все человечество, независимо от того молятся ли отдельные народы Аллаху или Будде, — впрочем и на это соглашаясь не без колебания, — церковь все еще замыкает Бога в земные пределы, с землей, как центром мира. Обращаясь к вере, цепляясь за нее, человек сам себе говорит: если нет победы над временем и пространством, то есть если то, что живет, бьется, трепещет во мне, не освобождено полностью от произвола понятий количественных, если этого нет, то вообще ничего нет, и тогда я песчинка из песчинок в непостижимом мне круговороте. Догмат должен бы стать выражением такой победы, заклинанием, призывом, волшебной формулой избавления от страха, — ибо все-таки в основе веры лежит страх, и кое в чем Минор прав! — догмат должен быть свидетельством веры в высшую силу, для которой нет разницы между миллиметром и миллионом

верст, между секундой и вечностью. Но наша догматика именно временем и пространством и ограничена, ей не достает того, что Шпенглер назвал «фаустовским чувством», новым сознанием беспредельности мира. Она создана в века, когда чувство это еще никому не было ведомо.

У Розанова, если не ошибаюсь в «Апокалипсисе», есть чрезвычайно странная страница, странная по своему простодушию и обманчивой логичности. Ему однажды пришло в голову, что солнце — это и есть Бог. Мысль сама по себе глубочайше-естественная, коренная, древняя, как сам человеческий род. Но тут же Розанов со смятением обратился ко Христу:

— Значит, Ты — не Бог?

Почему? Почему? Почему? Какое детское, механическое сцепление суждений! Одно другому не противоречит, и если в символе веры о возможной божественности, — то есть о живой чудотворности солнца, — ничего не сказано, то разве все в символе веры сказано? И с другой стороны, разве то, что в символе веры сказано, может быть в наше время полностью, без единого исключения предметом веры?

«И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца . . .»

Для чего слова эти читаются и поются за каждой обедней, православной, католической, протестантской? Несомненно для того, чтобы все присутствующие проникались буквальной и совершенной истинностью их, без каких-либо кривотолков. Вознесся на небеса в той плоти, которая и после Воскресения была по учению церкви настоящей человеческой плотью, той же самой, которая изнемогала на Кресте, той, от которой в земле, в добычу разложения и срада, не осталось ни малейшей частицы. Вознесся на небо и сидит теперь по правую руку от Создателя вселенной . . . Но что такое небо? Разве вообще существует небо? Самое понятие это,

вдохновлявшее и религию, и поэзию, и все человеческое творчество в течение веков, — до лермонтовского «неба полуночи», самого глубокого вздоха о потустороннем во всей русской литературе, — понятие это внезапно обанкротилось, лишилось смысла: неба нет, как нет во вселенной, вне земного притяжения, никакого «верха» и «низа». Среди всех христианских догматов догмат Вознесения представляет собой образец того, во что верить труднее всего. Никакие сделки с умом и воображением помочь тут ничему не могут: невозможно! — и не потому, что „*quia absurdum*“, в каком-нибудь сверхразумном смысле, а наоборот, потому, что содержание догмата внушено представлением, когда-то находившимся с разумом в согласии. Едва ли кто-нибудь теперь в него действительно верит, и даже люди благочестивые, церковно настроенные, говорят о теле просветленном, призрачном, чуть ли не «астральном». Об этом говорил Бердяев, в остальном заботившийся о том, чтобы не слишком Церкви противоречить, да говорят и другие мыслители, чувствующие невозможность оставить все в прежнем виде, без поправок.

Но церковь поправок не допускает. По учению церкви вознеслось тело вполне вещественное, а не «астральное», — иначе неизбежно надо допустить разложение в могиле.

А ведь в «астральной» поправке, — распространяющейся, конечно, и на основной христианский догмат, на самое знаменательное из чудес: на догмат и чудо Воскресения, — в поправке этой ни кощунства, ни предательства нет, хотя она и не в ладу с Символом Веры. Есть в ней даже что-то праведно-нравственное, милосердное, способное вызвать в ответ не смущение сердца, а порыв благодарности. Да, то тело, с мускулами, кровью и всем, что составляет и наши тела, разложилось и истлело. Но если Он в милосердии своем, в снисхождении своем согласился быть человеком, то не рас-

пространяется ли это милосердие, это снисхождение и на смерть, то есть не мог ли Он согласиться и умереть такой же смертью, какой умрем все мы, со смрадом, зловонием и всей мерзостью смерти? Не углубляется ли при этом догмат, не восстает ли образ Его в чистейшем сиянии? Не утверждается ли дело Его тем, что Он преодолел смерть, как исчезновение, и мог явиться ученикам после того, как умер действительной, настоящей смертью, единой для всего сущего, без телесно-материального восстановления?

Церковь до сих пор учит: «Чаю воскресения мертвых», и значит провозглашает грядущее всечеловеческое восстание из гробов, в согласии с нашим святым и сумасшедшим рационалистом Федоровым. Но верит ли теперь действительно кто-нибудь в воскресение мертвецов? Эллинизация христианства, неотразимая и неуловимая, отчасти в том и сказалась, что греческая, платоновская, великая идея бессмертия души преобразила и почти вытеснила в сознаниях тяжелую еврейскую идею воскресения трупов, — и мало-помалу окрылила христианство, внесла в него воздух и освобождение, разрешила какие-то мучительные, двоящиеся, загадочные противоречия, заложенные в самой основе человеческого существа. «Чаю бессмертия души»: без этого не было бы средневековых соборов с их дивно-взвывающимися в беспредельность, игольчатыми башнями, не было бы «безбрежной мечтательности» — по Достоевскому — протестантизма, не было бы, конечно, и самого Достоевского, ни Паскаля, ни Данте, ни Лермонтова, ни многих других.

«Чаю бессмертия душ», всех душ, и хороших, и плохих, — потому, что, если были они плохими, то разве по своей вине? Чаю бесстрашия перед бесконечным пространством и бесконечным временем, чаю преодоления пространства и времени, и пусть сгниет то, что сгнить должно: ночью, под звон пасхальных колоколов,

со свечами задуваемыми весенним ветром, нет ничего, что сильнее и радостнее объединяло бы людей, сошедшихся вспомнить о самом нужном им обещании и торжестве.

Перечитывая Чаадаева.

Не много на свете книг, которые выдерживают второе или третье чтение без того, чтобы не вызвать разочарования. Казалось мне, чаадаевские «Письма» — одна из таких книг. Но нет, есть в них, все-таки что-то «салонное», пусть и в самом высоком смысле этого слова. Есть что-то преувеличенно надменное, нарочито-ледяное и леденящее, чуть-чуть декламационное. Обвинительный акт России надо было бы написать иначе, в более русском складе, возможном даже при том условии, что Чаадаев писал по-французски. Надо было бы написать его изнутри, а не в позе постороннего наблюдателя.

Но действует до сих пор, и неотразимо действует, глубокая грусть, которой письма проникнуты. Действует музыка, в них звучащая, — не совсем, может быть, русская, но настоящая, редкого качества... Это Чаадаеву зачтется, это останется за ним навсегда. После него все-таки мало кого из русских мыслителей можно вспомнить, не чувствуя падения, разве что Герцена, — да и то не целиком, а преимущественно те его страницы, где он не столько «борец за светлое будущее, сколько стареющий, чуть ли не во всем усомнившийся человек. Или Конст. Леонтьева.

Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом вернее суждения о ней. Русский «квасной» или какой бы то ни было иной патриотизм, русское бахвальство и самоупоение нельзя выдержать.

От Батюшкова с его постыдным сверх-квасным афоризмом о Кремле, этом будто бы «прекраснейшем месте на земном шаре, в прекраснейшем городе, принадлежащем величайшему в мире народу», от Гоголя с его злосчастной тройкой, до нынешних советских вариаций на те же мотивы и темы, все это ничего, кроме тошноты не вызывает, — тем более, что меры русский человек, как известно, ни в чем не знает, и уж если почудилась его расстроенному воображению удалая тройка, то должна она опрокинуть решительно все на свете. И наоборот, едва только услышишь отрицания, вроде чаадаевского, или вроде полюбившихся Мережковскому печоринских строк:

Как сладостно отчизну ненавидеть...

— хочется сказать: да, может быть, а все-таки... И эти «все-таки» уходят так глубоко, что упреки теряют значение. Защитительные доводы сталкиваются, дополняют, обгоняют друг друга, пока мало-помалу не добиваются до самых начал человеческой жизни: да, верно, то плохо, и это сомнительно, но черновик нации, культуры, общества был набросан, как, пожалуй, нигде больше, замысел был такой, как ни у кого другого, и в догадках о несостоявшихся реализациях есть, все-таки основания для преданности и даже гордости.

Замысел провалился, что тут спорить! (или по Бердяеву, всегда искажающему и как бы компрометирующему свои простые и верные мысли своим дурным стилем: «то, что Бог думает о России...»). Но было в замысле этом что-то широкое, свободное, вольное, доброе, не разрушительное, а только беспокойное, как бы от сознания, что нельзя достичь ничего, на чем стоило бы успокоиться. Чаадаев судит о России с высоты многовековой, величавой и по своему удавшейся цивилизации. Но ему и в голову не приходит спросить себя: что в этой цивилизации, носящей имя христианской, осталось от христианства? И даже больше: возможно ли со-

единение понятий «культура» и «христианство», без того, чтобы одно не истлело в пламени другого? И возможен ли выбор?

Колебания, конечно, этим и вызваны: не удалось почти ничего, но хотели-то мы больше того, что удалось сделать другим. Или, по крайней мере, мечтали о большем . . . Если мы и вправе гордиться, то не тем, чего мы добились, а лишь тем, что мы хотели и чего не могли сделать, то есть высокой неосуществимостью русских стремлений, невозможностью воплотить их в государственных и социальных формах.

Упоенный собой русский именно тем и жалок, что этого не понимает, и при тяжбе с Западом уверен в своем реальном, ощутимом, осуществленном превосходстве. «Где им, всякой там немчуре и французишкам до нас!» — Кто же этого не слышал? Кто не уловит в нынешних московских восхвалениях родины того, что существовало и прежде, но что прежде вызывало усмешку? Крайности всегда сходятся, и тройки, по разному запряженные, с разными ямщиками на козлах, мчатся по родным раздольям все те же. Еще недавно, здесь, в эмиграции, Шмелев только этим и дышал, и жил. Шмелев казался очень русским писателем, уж таким русским, что «русее» и не бывает, а на деле он при своем, — для меня несомненном и большом таланте, при своей страдальческой искренности, — был отступником, и вел от имени России запоздалую, измельчавшую, выдохшуюся славянофильскую игру, которая ничем, кроме конфуза, кончиться не может. По-своему он любил Россию, «до самозабвения», — по собственным своим словам. Но любил, так сказать, беспрепятственно, сам себя обманывая, и о каком ни говорил бы он величии, величию этому грош цена.

Впрочем, можно и совсем по-иному объяснить, почему нестерпим упоенный собой русский человек. Но это и тема совсем другая, с уклоном скорее к психологии, чем к истории.

Беседуя с французом, немцем, англичанином или американцем, мы не так хорошо его понимаем, как понимаем русского. Язык и возможные затруднения в его оттенках тут решающей роли не играют, и даже если логический смысл речи вполне ясен, что-то в «обертонах» ее ускользывает. Скажет что-нибудь плоское и пустое русский: иностранец, пожалуй, и не поморщится, как сразу поморщимся мы, — и, наоборот, к фальши французской, немецкой, всякой другой, окажемся именно мы, а не иностранцы, менее чувствительны. Французские водевили, например, французские шаловливые песенки многим из нас нравятся, а все русское в таком же роде ничего, кроме тоскливого недоумения, не вызывает... Может быть, действительно французы в этой своей специальности искуснее нас, может быть, они легче и бойче нас отроумничают, допустим, но дело не в этом. Дело в том, что сквозь отечественную русскую пошлость мы отчетливее улавливаем кое-что из убожества вечного и общечеловеческого. Нас ничто не отвлекает от ее созерцания, и по звуку голоса, усмешке, по какой-нибудь вскользь брошенной прибаутке мы безошибочно восстанавливаем целый, во всех мелочах нам знакомый, удручающий мир, будто по одному позвонку — целого мамонта. А с французом или американцем мы позвонок держим в руке, не зная откуда он и куда его отнести. Конечно, и чужеземная кичливость бывает досадна сама по себе. Но кичливость русскую воображение невольно дополняет душком из былых истинно-русских чайных, со всеми их достопамятными атрибутами...

От того-то, вероятно, русское самодовольство отталивает нас сильнее всякого другого, независимо от вопроса, где для него больше оснований. И, — продол-

жая мысль, — не в этом ли, не в обостренном ли слухе к соотечественникам ключ ко всему гневному и презрительному, что писал Байрон об англичанах, Шопенгауэр о немцах, или Бодлер о французах и даже о Париже, вплоть до Розанова, признававшегося, что случается ему содрогаться при одном упоминании о русских? Пессимизм рождается от столкновения с людьми, насчет которых не может остаться иллюзий. По справедливости следует сказать, что и хорошее в близких по языку и крови людях яснее, чем в других.

Писатели, в особенности романисты психологического и бытового типа, поступили бы благоразумно, если бы взяли за правило рассказывать преимущественно о соотечественниках. Клюква бывает разная, от смешотворно-нелепой до едва уловимой, и как бы ни был правдоподобен внешний облик, некоторая внутренняя схематичность в изображении людей, в иных условиях сложившихся, дает себя знать почти неизбежно. Слепок грубее, приблизительнее. Даже в «Войне и мире» французы (капитан Рамбаль, например, не говоря уж о Наполеоне) — не вполне живые люди, вне той таинственно-естественной атмосферы, в которой движутся остальные толстовские герои.

Молодой человек, который в двадцать лет или даже раньше, прочтя Достоевского, не был бы потрясен «до мозга костей», не был бы ранен как будто в самое сердце, не ходил бы сбитый с толку, недоумевающий, измученный тысячью сомнений, такой молодой человек должен бы внушить недоверие. Конечно, не о всех молодых людях речь. Существуют прекрасные, добрые, честные молодые люди, так сказать «спортивного» склада, с которых никакие потрясения не спросят. Но я говорю о тех, с которых «спросится».

Нет писателя, который лучше, чем Достоевский, выразил бы и полнее дал бы почувствовать отсутствие правды в мире, боль жизни, все-таки порой слишком острую, чтобы с буддийским спокойствием отнести ее к явлениям естественным. Правда — слово расплывчатое: что есть правда, «что есть истина?» Что такое справедливость? Точного определения нет и быть не может... Что-то «не то» и «не так» в жизни, частью по вине людей, частью независимо от них, и значит ни по чьей вине. Достоевский это уловил. От Достоевского сводит скулы, пересыхает в горле, и вовсе не после какого-либо отдельного его рассуждения, нет, а от общего, ужасного неблагополучия представленного им мира. В молодости именно к этому неблагополучию сознание чувствительно: оно его не предвидело, оно еще не утратило своей детской доверчивости. Молодой человек останавливается в тревожном изумлении: как, неужели это и есть жизнь? Откуда все это? Как же мне в такой жизни участвовать? Как исправить, можно ли помочь? Да, это первое, ни с чем не сравнимое впечатление от Достоевского благотворно, и неизбежно, если только у молодого человека живая душа. Да, бесспорно...

Но...

Но тот, кто позднее не почувствовал бы, что и у самого Достоевского в его видениях и вымыслах что-то «не то» и «не так», что есть нечто глубоко произвольное в его основном творческом представлении, тот тоже может внушить недоверие. Недоверие другого рода: не к своей душевной отзывчивости, а скорей к своей умственной требовательности, к способности отличить существенное от случайного, найденное от выдуманного, то есть к тому, без чего нет настоящей зрелости. До чего у Достоевского все преувеличено, до чего схематично, «умышленно», если воспользоваться его же выражением, и как шатко это грандиозное здание, как топливо, в каком смутном, рассеянном вдохновении оно

возведено, будто из огромных, невиданных камней, однако без фундамента!

Если у меня всегда было и теперь еще остается какое-то сомнение в отношении Андре Жида, одного из самых проникательных людей нашего времени, то в числе других причин и потому, что он до глубокой старости сохранил фанатическую преданность Достоевскому. Как он, казалось бы, все понимавший, во всем безошибочно разбиравшийся, мог тут сорваться и срыва не почувствовать? Андре Жид был чрезвычайно умен, и притом ум у него был не столько творческий, деятельный, полный своего содержания — что нередко приводит к тому, что в голове не умещаются чуждые, чужие мысли, и она отшвыривает их, как вздор, — сколько восприимчивый, открытый. А на Достоевском он споткнулся. Он читал Достоевского всю жизнь, он питался им, и все-таки его недопонял. Может быть, объяснение в том, что Жид не знал русского языка. Достаточно сличить две-три странички любого из французских переводов Достоевского с оригинальным текстом, чтобы убедиться, что главное, то, непередаваемо «достоевское», улетучилось, и что в гладких, плавных фразах нет и следа знакомого нам, лихорадочного, вкрадчивого, назойливого, единственного, неповторимого, несносного говорка.

При всем том, что произошло в последние десятилетия, при тех сквозняках, которые дуют теперь во все щели нашего мира, Достоевский должен был стать властителем дум и душ. Иногда говорят, что литература влияет на жизнь, а не жизнь на литературу: нет, едва ли. Достоевский, может быть, и повлиял на душевный облик наших современников, но только постому, что время само подготовило ему почву для этого. Ре-

волюции и войны расшатали умы и нервы, наполнили человеческие души отвращением к установившемуся укладу существования, создали тот тип анархически-мечтательного, раздраженного и как-то навыворот-эстетствующего интеллигента, которых в наше время хоть пруд пруди.

У него, у Достоевского, были свои причины быть больным. У его теперешних поклонников — причины совсем другие. Но в состоянии обнаружилось соответствие и нашлись черты, если и не вполне одинаковые, то сходящиеся, одна за другую цепляющиеся, и это-то и вызвало страстное, исключительное влечение. Осуждать нечего и некого, но и разделять всеобщие восторги не обязательно. Достоевский ответственен за очень многое в современных литературных и художественных настроениях, — не виноват, а именно ответственен, — и право, если хочется сказать «ответственен за порчу вкуса», то не в том значении слова вкус, которое подразумевает любовь к изящным картинам и звучным стихам. Он ответственен за показную, непроверенную тревогу, возникшую в подражание ему, за опрометчивость в основных положениях, за новизну «во что бы то ни стало», провозглашенную, увы, Бодлером, но которую он, Достоевский, всеми своими открытиями и догадками, сам о том не думая, утвердил, ответственен за уверенность, что все, что угодно можно вообразить и изобразить, раз мир, все равно, с каждым годом все больше уподобляется сумасшедшему дому. Короче, за коренную баззаконность тех или иных положений, за безумное метафизическое «все позволено», которое, раз прорвавшись, не скоро и не легко будет загнано обратно.

Достоевский, будто весь вытянувшись, глотнул воздуха, которым до него никто не дышал, и, собственно говоря, главный, даже единственно-важный вопрос сводится к тому, был ли его опыт трагически-никчемным экспериментом, с неизбежным финалом у разби-

того корыта, или действительно был обогащением, расширением горизонта. Было прозрение или был бред?

Вопрос риторический, если отнести его к тем людям, которые теперь распоряжаются наследием Достоевского, как своим неотъемлемым достоянием. Никаких нет просветов из нашей жизни в иную, крышка захлопнута плотно, окончательно, нравится нам это или нет! Достоевский-то сам, может быть, и в силах был в своей разряженной атмосфере жить, но у них, у его последователей, закружилась голова, только и всего, и принялись они болтать лишнее, высокомерно поглядывая на тех, кто остался в стороне. Им-то что, им море по колена, и миражами своими они восхищены, — до тех пор пока не настанет утро, рассвет, и все опять водворится на свои прежние места. Скучные, бедные места, пусть и в скучном, бедном, плоском мире! Но других нет, и не стоит обольщаться, чтоб, в конце концов, опять стукнуться головой о крышку.

Все это должно было когда-нибудь обнаружиться. Достоевский заплатит, вероятно, за свое теперешнее влияние и славу долгим, на некоторое время даже преувеличенным, помрачением, не той умеренной, почтительной переоценкой, которая постигла Тургенева, а озлобленной, несправедливой, вроде как после выхода из ловушки. Кстати, Толстой, не любивший ни того, ни другого, сказал: «Тургенев переживет Достоевского» (у Бирюкова). Что это значит? Не мог же он не сознавать, что все-таки, во всех отношениях, Достоевский больше Тургенева, даже и как художник. Повидимому, Толстой о чем-то подобном и думал, и сопоставляя сравнительно-скромную и однообразную кухню с другой, роскошной, но сильно приперченной, оказал доверие первой.

«Проблемы...»

Если говорить о «проблемах», то, разумеется, Достоевский неизмеримо щедрее и занимательнее Толстого. Да и кто же не знает, что задетыми или поднятыми им вопросами живет добрая половина новейшей западной литературы?

Но «проблемы» по существу призрачны, условны, и требуют несколько суетливого участия в современной умственной путанице, без чего исчезают. «Проблемы» требуют аппетита к этой путанице. Конечно, бессовестно было бы со стороны любого из нас притворяться многомудрым пустынноиком, для которого ничего, кроме вечности, не имеет значения, и уж лучше на крайность окончательно в «проблемах» увязнуть, чем ломать комедию. Но Толстой-то комедии не ломал, и для него действительно «проблем», во множественном числе, не существовало. Он о них, вероятно, и не думал, а может быть, по складу его огромного, но малоподвижного, плохо дробившегося ума, они и не были ему доступны. Для «проблем» нужно проникать в щели, а глыба в щели не пройдет... Как бы то ни было, Толстой был на том духовном уровне, при котором «проблем не *еще* нет, а *уже* нет.

Когда-то, в Петербурге, еще до революции, Вячеслав Иванов в прениях по чьему-то докладу, сказал фразу, поразившую меня и запомнившуюся, — и какой он был мастер окутывать всякую, даже заурядную свою мысль волшебными туманами! «В природе нет алгебры, ее выдумал человек...» Не совсем верно, если вдуматься. В строении природы алгебра есть, но она от человека скрыта, и человек ее не выдумал, а обнаружил. «Проблемы» тоже не выдуманы, но в стихиях действительно их нет: возникают они скорее в истории. Основное же отличие Достоевского от Толстого именно в том, что у одного был слух и чутье к истории, при более,

чем натянутых отношениях с природой, а другой только в природе, то есть в стихиях, и жил, посматривая на историю хмурым, рассеянным и недоверчивым взглядом.

История движется, дробится, стирает в порошок человеческие судьбы и в ходе своем не может не оставлять за собой тысячи недоумений и загадок. Достоевский опередил свою эпоху, уловив, подхватив все, что она несла или только обещала, и наполнил свои романы намеками, отражениями, возражениями, утверждениями, развитием, искажениями ее сложнейшего идейного содержания. Читая «Бесы», например, мы невольно переносимся к тому, что происходит сейчас, и спрашиваем себя, верно ли оказалось пророчество. А иногда современность, «актуальность» Достоевского сказывается и в менее отчетливом виде, доходя до едва различаемых оттенков в воззрениях и суждениях. Ницше признавался, что научился у Достоевского большему, чем у кого бы то ни было, а от Ницше до, скажем, Сартра заимствования продолжались непрерывно, порой безотчетно, порой сознательно, но всегда с такой наглядностью в преемственности, что без Достоевского, кажется, иные авторы и появиться на свет не могли бы.

Достоевский необычайно «интересный» писатель, и есть какое-то странное — и стоящее того, чтобы над ним задуматься! — соответствие между полицейски-авантюрной занятостью его фабул и тревожным, дразнящим изобилием затронутых им «проблем». У одних дух захватывает от любопытства, кто убил старика Карамазова, или сознается ли Раскольников, у других оттого, можно ли вернуть билет на право входа в жизнь, или что именно символизируется баней с пауками, но глаза горят, книга зачитывается «до дыр», ночь проходит без сна. Конечно, и над «Анной Карениной» ночь порой проходит без сна. Но едва ли с тем же голым любопытством, едва ли с волнением, вызванным

какой-либо особенно животрепещущей «проблемой». Алэн, большой французский философ, тончайший аналитический ум и притом страстный почитатель Толстого, сказал о его мыслях: „ces robustes pensées de l'âge de fer" . . . И совершенно верно: железный, даже каменный век! В природе нет «проблем», нет личности, свободы, большевизма, всеобщей ответственности, государственной необходимости, европейской культуры, «страны святых чудес» и прочего, и прочего, а два-три вечных, как сама природа, вопроса не поддаются ни развитию, ни разработке, и притом все-таки несут в себе всю мировую поэзию, все искусство от первого дня до последнего. Неизвестность остается точно такой же, какой была тысячи лет тому назад и какой будет через другие тысячи лет. В промежутке можно, разумеется, заниматься «проблемами», и даже не только можно, но и необходимо, — поскольку человек в истории живет, от нее страдает и с ней связывает свои надежды. Еще раз скажу: нелепо и бесчестно для среднего человека пофыркивать на историю, бежать от нее и от ее неурядиц, прикрывая бегство мнимой преданностью мнимым высшим, «единым на потребу», интересам. Но когда раз в столетье является человек, естественно обращенный лишь к «самому важному», нельзя и не почувствовать своего перед ним ничтожества.

(Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-доцентским. Дурное слово, не само по себе дурное, а будто развращенное дурным и часто ничемным употреблением! Один видный философ-богослов читал несколько лет тому назад в Париже публичную лекцию, озаглавленную «Проблема рая»! Ну, как после этого не почувствовать к «проблемам» отвращения!).

В сущности, Достоевский в русской и даже в мировой литературе — только эпизод.

Но революция, война — тоже эпизоды... И сразу вместе с этим внезапно мелькнувшим сопоставлением возникает, врывается другая мысль: как жаль, какое неповторимое несчастье, что он не дожил до наших дней! Никто в мире не в состоянии теперь сказать того, что сказал бы он — о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех опор, о нищете, и не только нищете материальной, а об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории... Есть, правда, сейчас один писатель, который на эту тему набрел, писатель у которого чутья больше, чем дарования — Ремарк в «Триумфальной Арке». Но Ремарк, увидев и наметив тему, лишь скользнул по ней, да если бы это и не было так, где же у него силы, чтобы с ней справиться?

Тут нечего было бы описывать, не о чем рассказывать. Нет, я представляю себе Ивана, который поговорил бы на эту тему с Алешей, и те слова, которые нашел бы Иван, чтоб растолковать все случившееся, раз навсегда, в предостережение будущему, как будто еще не к тому готовому. Достоевский оказался бы в области, где у него нет соперников, он один попал бы в верный, нужный тон, его горячечный пафос вырвался бы на этот раз из самых глубин его духа, а если бы будущее, по всей вероятности, и прошло мимо, «не моргнув», то все же осталось бы утешение, что хоть кто-то попытался его расшевелить, остановить, в уровень с веком, с ужасной темой века! Ну, да человек бывает в положении, когда он никому не нужен и не может никому принести пользы. Что же из этого? Для того ли была культура, развитие, философия, все прочее, дивная наша музыка, для того ли... ловлю себя на жела-

нии перефразировать незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском «в пернатом своем шлеме» и о прочих величиях, кончившихся гражданином в «куцом пиджачке» . . . для того ли, чтобы придти к заключению, что такой человек действительно только обуза и нечего с ним считаться? Для того ли две тысячи лет тому назад вспыхнул духовный пожар, чтобы при последних его, догорающих угольках невозможно связывать мораль со статистикой и одно выводить из другого? И при том с передержками, с недомолвками, и малодушной боязнью провозгласить во всеуслышание то, что таится в уме? Ну, да, может быть, действительно есть «нисходящий» класс и есть «восходящий». Что же из этого? Если те, которые «восходят», хотят действительно до чего-то дозойти, не следовало ли бы им задуматься о цене и оборотной стороне восхождения? О том, что все-таки нет масс, как неделимого целого, а есть миллионы отдельных волей, стремлений и страданий? О круговой поруке перед неизбежностью смерти и о том, как «бестиален» культ большинства, силы, молодости? О том, не разлетится ли при рубке весь лес в щепки? О том, стоит ли игра свеч? . . Я только начинаю беречь тему, и уже, как бирюльки, вопрос тянется за вопросом.

Человек до наших дней не отдавал себе отчета, что такое общество. Как неизменно бывает в благополучные времена, он жил среди декораций и, не имея случая испытать их прочность, не догадывался, что они из картона. Но декорации, очевидно подгнившие, разлетелись при первой же буре, и истина обнаружилась, и притом не только в обнаженном, полном, трагическом виде, как в России, но и из-под еще державшихся обломков и лохмотьев, как здесь, на Западе. «И от судеб защиты нет». Нам, русским, это дано было узнать ближе, чем кому бы то ни было, и в этом смысле мы могли бы кое-что рассказать остальному миру. Но еще раз, еще раз, еще раз, как жаль, что нет Достоевского!

История ошиблась, поторопившись выпустить его на полстолетия раньше, чем следовало бы. Он один нашел бы в наши дни вдохновение для новых «записок» из нового «подполья», которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса.

Остракизм, которому подвергнут Достоевский в советской России, принято объяснять его реакционными взглядами. Но корень советской вражды к Достоевскому несомненно глубже. Из реакционера сделать передового, свободолюбивого деятеля в Москве, когда нужно, умеют, и недалеко ходить — Гоголя к юбилею там препарировали так, что от его реакционности, да и от всех его мучений и сомнений, не осталось и следа. Над Достоевским, во внимание к его всемирной славе, было бы проделано то же самое, если бы не этот беспокойный, взрывчатый его склад, который опаснее консерватизма. Удивительное замечание Толстого, — по-моему самое пронизательное, что о Достоевском вообще было сказано, — «в нем есть что-то еврейское» — вспоминается сразу, как продолжение и подтверждение догадки. Евреи, до известной степени, были и остаются эмиграцией человечества, с теми же темами, теми же обидами и укорами.

Мережковский: «Они нас ненавидят, и они нас боятся.

Они — это, конечно, европейцы, Запад. Мережковский утверждает, что ему давно уже приходится сталкиваться с глухой неприязнью к России, и что отношение это вовсе не ново, и выходит далеко за пределы теперешней политики. По привычке своей он сгустил краски, «нажал педаль», притворно ужасаясь ненависти и боязни. Но за ораторской игрой было и верное чувство.

Действительно, неприязни ко всему русскому на Западе много. В частности, через все пренебрежительные оценки, через отрицательные рассуждения о России проходит одна мысль: Россия ничего оригинального не создала, она все заимствовала у других. Это было одним из основных доводов Чаадаева, об этом писал маркиз де Кюстин в книге, возведенной теперь в «пророческие», и где при несомненном уме и остроте взгляда есть и изрядная доля невежества, лжи и вздора. А с тех пор это повторяется на все лады. Даже Тургенев в «Дыме», раздраженный слепым и наивным русским мессианизмом, несколько опрометчиво присоединился к общему хору. В России будто бы нет ничего, полностью ей принадлежащего, кроме варварства, рабства, тьмы и в лучшем случае какой-то нигилистической жажды все стереть с лица земли ради неясных будущих свершений.

Не будем сейчас спорить «по существу». Согласимся, что действительно русская цивилизация в последние два века была кое в чем слепком с цивилизации европейской... Но она-то сама, эта новая европейская культура, полностью ли она самостоятельна и оригинальна? Все то, чем она живет, ею ли единственно и создано? В вопросе этом нет никакого злорадства, нет и тени полемической запальчивости. Наоборот, Европа была и остается для нас «страной святых чудес», тысячу раз я готов повторить это, но, с совершенной искренностью кланяясь ей, храня в сердце бесконечную ей благодарность, позволительно вспомнить все-таки, что и ей самой есть кого благодарить за уроки. Весь смысл культуры — в преемственности, в отказе от национальных «авторских прав», и нельзя, не сойдя с ума, требовать в этой области оригинальности во что бы то ни стало. Новая Европа ничуть не теряет своей «святости» от сознания, что она не только творила, а и перерабатывала. Пусть же и за нами признает она право на переработку.

В нашем мире было только два подлинных, несомненных первоисточника — Афины и Иерусалим, да еще пожалуй, — но в меньшей все-таки степени, на более низком уровне, — Рим, откуда человечество взяло государственные и правовые идеи. Бесспорно, и английская, и французская, и итальянская культуры внесли что-то свое, неотъемлемое в общее достояние. Англии мир обязан высоким понятием гражданственности, истинного народовластия, — но даже и это, казалось бы столь характерно-британское по духу, британски-горделивое по складу, могло ли бы оно возникнуть без того, чтобы римские и палестинские веяния, скрестившись и смешавшись, не принесли плодов? А Франция? «Париж — новые Афины», как с видимым и понятным удовлетворением говорят сами французы. Действительно, это новые Афины, откуда в течение нескольких веков струился свет на весь остальной Запад. Но ведь те-то, настоящие Афины, маленький город на пыльных раскаленных скалах, чудо истории, никаких сравнений в памяти не вызывали? Ренан ездил молиться на ступенях Акрополя и был прав: если у него был Бог, то именно тот, который там впервые людям открылся. Паскаль, конечно, поехал бы молиться в другой город, дальше, на Восток, но и он чувствовал, что его «дом», его истинная «родина» — вне той земли, где приходится ему жить. В Британском музее хранятся обломки мраморов, когда-то украшавших Парфенон: на них по истине «без волнения смотреть невозможно», и вовсе не потому, что бы они действительно казались так исключительно прекрасны, — в этом разбирается один человек из тысячи! — а потому, что они «оттуда», что их видел Платон, видел Софокл... Все европейское пришло «оттуда», осложнившись в течение веков иными, христианскими мотивами. «Фаустовское», по Шпенглеру, томление о бесконечности — от христианства. Нет в новой европейской культуре ни одной великой книги, ни одного сколько-нибудь значительного

явления без этой двоящейся родословной, и, следовательно, оригинальность этой культуры все-таки условна, и в процессе еековки были переплавлены иные, не ей принадлежащие руды... Конечно, у нас, русских, все это было сделано слишком торопливо, и даже с каким-то механическим привкусом, что и вызвало нескончаемый, неразрешимый славянофильско-западнический спор. Конечно, мы многое получили в готовом виде, из вторых рук. Конечно, были мы не столько наследниками, сколько учениками. Но если бы древний римлянин взглянул на то, что сделали потомки презираемых им готов и галлов, он пожалуй тоже обвинил бы их в обезьянничаньи, — и при этом тоже ошибся бы. В культуре почти все, что кажется подражанием, есть продолжение, обработка, усвоение общих сокровищ, а сказать, что Россия ничего в этом смысле не сделала, может только тот, кто склонен заведомо называть белое черным! Нас попрекают Византией, вернее византийством, темным, формальным, лукавым византийским духом, — но неужели русское христианство, например, у Нила Сорского, или более позднее, вплоть до Федорова, византийским и осталось? Или неужели сквозь «галломанию» не прикоснулась Россия и к другому, вечному источнику всяческой ясности и гармонии? *

До известной степени, значит, и со всякими оговорами, и «мы», и «они» — в одном положении, и «мы» и «они» должны бы сознавать себя должниками. Разница есть. История оказалась к «ним» благосклоннее. Но и «мы», и «они» живем на чужой счет.

Спора не стоит начинать. Спор был бы пустым, а по нынешним временам, даже и тягостным. Спорить, в сущности и не о чем, и будущее рано или поздно на-

* Тэн — по свидетельству М. де Воюэ — утверждал, что Тургенев — «единственный эллин» в новой литературе. Это, конечно, преувеличение. Но возможно, что сквозь Тургенева Тэн почувствовал его учителя, Пушкина, и если это так, никакого преувеличения в словах его нет.

ведет во всех этих недоразумениях порядок. Но трудно оставить без возражений или хотя бы только примечаний, все то несправедливое, что было о России сказано и написано.

Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней, надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно-елейной, отвратительно слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух ее не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд — пустяк, очередная, глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?

«Последнее прибежище негодя — патриотизм», сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой», опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело повидимому в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было бы сказать, что патриотизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности патриотизму русскому.

Отчего же все-таки мы уехали из России? Или точнее: раскаиваться ли в том, что уехали, считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически может быть и

оправданным, но все-таки несчастьем, тяжелой бедой, на нашу долю выпавшей?

Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений и разъяснений, не сказать: нет, нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, поскольку всякие практические выводы, с бесправным положением беженца, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех ее проявлениях, поскольку все это искупается с лихвой, — с огромной, неисчислимой лихвой, — ощущением какой-то почти метафизической удачи, решения долго смущавшей задачи! Даже больше: освобождения, — как бывает после трудного, страшного шага, который наконец сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок, долго остававшийся бессвязным, внезапно оказался осмыслен и линии его сошлись. Надо было, чтобы именно было так, и в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы скорей сплоховали... Братья-беженцы, по всему свету рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, известные и никому не известные, мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что есть руки, которые протянулись бы в ответ.

Оттого мы уехали из России, что нужно нам было остаться русскими в своем, особом облики, в своей внутренней тональности, и право, политика тут ни при чем, или во всяком случае при чем-то второстепенном. Да, бесспорно, революция дала нашей судьбе определенные бытовые формы, отъезд фактический, а не аллегорический был вызван именно революцией, именно крушением привычного для мира. Разумеется, возможность писать по своему, думать и жить по своему, пусть и без пайков, без разъездов по заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, имела значение первичное. Кто же это отрицает, кто может об этом забыть?

Но не все этим исчерпывается, а если бы этим исчерпалось, то действительно осталось бы нам только «плакать на реках вавилонских». Однако слез нет и плакать не о чем. Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с понятием необходимости вовсе не тождественно: в данном случае была необходимость.

Есть две России, и уходит это раздвоение корнями своими далеко, далеко вглубь, повидимому к тому, что сделал Петр, — сделал слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые органические ткани не оказались порваны. Смешно теперь, после всего на эти темы написанного, к петровской хирургической операции возвращаться, смешно повторять славянофильские обвинения, да и преемственность тут едва намечена, и думая о ней, убеждаешься, что найти для нее твердые обоснования было бы трудно. Есть две России, и одна, многомиллионная, тяжелая, тяжелодумная, — впрочем, тут подвертываются под перо десятки эпитетов, вплоть до блоковского «толстозадая», — одна Россия как бы выпирает другую, не то, что ненавидя ее, а скорей не понимая ее, косясь на нее с недоумением и ощущая в ней что-то чуждое. Другая, вторая Россия... для нее подходящих эпитетов нашлось бы меньше. Но самое важное в ее облике то, что она не сомневается в полномправной своей принадлежности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась. Космополитизмом она не грешна: «космополит — нуль, хуже нуля», сказал, если не изменяет мне память, Тургенев в «Рудине». На что бы она ни натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она — Россия, дух от духа ее, плоть от плоти ее, и никакими охотничьими выталкиваниями и выпираниями, дореволюционными или новейшими, этого ее убеждения не поколебать.

Мережковский когда-то сказал в «Зеленой лампе», — и слова его поразили меня своей меткостью, — или может быть, думаю я теперь, тем неподражаемым умением преподносить эффектные афоризмы, как глубоко-

ко-проникновенные мысли, которым Мережковский отличался в своих словесных импровизациях под конец публичных споров:

— Первым русским эмигрантом был Чаадаев.

Нет, это только поверхностно верно, хотя высочайший диагноз, признавший Чаадаева умалишенным, и совпадает с некоторыми теперешними утверждениями. Чаадаев очень умен, но надменен и в самом одиночестве своем, с примесью дэндизма, как-то вызывающе декоративен: нет, гарольдов плащ москвичам не совсем к лицу. Но замечательно все-таки, что Мережковский уловил в исторической природе эмиграции нечто такое, что не одной только революцией было вызвано, а возникло задолго до нее. Не Чаадаев, так кто-нибудь другой, не одна книга, так строчка тут, полстранички там, обрывок стихотворения, вздох, не нашедший логического выражения, воспринятый современниками, как нелепость, — но предвидение отрыва, отказа, освобождения, смутное предчувствие короткого, как молния счастья, среди повседневных наших дел, да, «лицемерных», среди «всякой пошлости и прозы».

Эмигрантская литература должна была бы это подхватить. От чаадаевского наследия отталкивало ее однако то, что она отнюдь не была склонна променять Россию на Запад, и никакой обетованной землей Запад для нее не был и не стал. Она искала родины, которая географически перестала быть Россией, она бежала в какое-то «никуда», «вглубь ночи», в русское рассеяние, внезапно наполнившееся для нее смыслом, но не на Запад, как могло бы показаться на первый взгляд. Запад был случайностью, Запад «подвернулся». Она ничуть не была соблазнена блеском, скажем, парижской литературной культуры, хотя ясно этот блеск видела, полностью его признавала и отдавала себе отчет, что в Париже ей есть чему поучиться. Запад сиял перед ней во всем своем прочном, многовековом ореоле, а случаи вроде многим из нас памятной, комически -

высокомерной, расейски-заносчивой статьи Шмелева о Прусте были исключением. Но если бы нас спросили: то ли это, чего вы ищете? — ответ был бы: нет, не то. Дома на Западе мы не были.

Чего же мы хотели? Думаю, — по крайней мере надеюсь, — что нет никого, кто не понял бы беспредметности такого вопроса. Настаивать на нем можно только при предвзятом желании изобличить, вывести на чистую воду, во что бы то ни стало обнаружить наготу короля. Мы знали, чего не хотим, но чего мы хотим — не знали. Однако в плоскости исторической кое-что можно было бы объяснить, сославшись на тот литературный период, который принято называть декадентством или модернизмом. К 1917 году он как будто уже выдохся, однако не совсем, и вскоре ожил, правда в уже ослабленном, почти что призрачном виде.

Было в русском модернизме много глупого, шарлатански-крикливого, ребячески-вычурного: это бесспорно. Но было и что-то незабываемое, редчайшее, и как никто другой чувствовал это Блок, «трагический тенор эпохи», по определению Ахматовой, — трагический потому, что безнадежно и беспомощно хотелось ему в мечте обнаружить правду.

С Блоком у нас счеты трудные, до сих пор не конченные. Но с каждым годом отчетливее вырисовывается то, что облик его возвеличивает. Блок дорог вдвойне: и тем, что он уловил в воздухе своего времени струйки, которыми никто прежде не дышал, и тем, что он отказался от них, подозревая — ошибочно или нет, как знать? — обман, иллюзию, «последнюю лесть горше первой». Блока измучила потребность этического оправдания эстетики, и это дает ему среди даровитых и ученых современников, которые претендовали на учи-

тельство, место исключительное. Блоку чужда была беспечность, столь характерная для остальных деятелей и столпов русского Ренессанса. Блок — друг, верный спутник, и потому-то и учитель: чувствуется, что на полдороге он не заскучает и не бросит. Блок запутался, зашел в тупик, но потому-то и близок всякому, кто знает, что от тупика не застрахован. Замечание, которое к сожалению надо сделать, хотя бы ради беспристрастия: повидимому Блок, при всем своем чутье, при глубокой интуитивной мудрости, не был умен в смысле сметливости, в смысле быстроты и точности рассудка, в том смысле, в каком обаятельно умен, например, Пушкин, — что отчасти и объясняет его срыв к «Двенадцати» (с удивительной авторской записью в дневнике: «сегодня я — гений»), или некоторые замечания в письмах. Блок оказывался иногда беззащитен перед натиском той грошевой, лже-мистической одури, которую культивировало его окружение. Но в главном, в основном он остался на высоте, никем в то время не достигнутой. По внутренней линии он восходит, конечно, гораздо вернее к Толстому, чем к Вячеславу Иванову или даже Соловьеву, — хотя помню, как Алданов, толстовец так сказать дословный, сердился и с взволнованным недоумением разводил руками, когда я ему об этом говорил. Блок — нищета, предпочтенная богатству, неизвестно каким путем нажитому, победа над себялюбивым удовлетворением под предлогом принадлежности к «элите», и в конце концов, именно в силу своей безупречной душевной честности, он залог того, что не все в догадках русского модернизма было досужей блажью и выдумками. Что-то действительно мелькнуло.

У нас было к этому «что-то» чувство верности, обостренное одиночеством и веяниями доходившими из России. «Тень несозданных созданий...», готовы были мы повторить, как пароль. Нам представлялось, что надо бы это продолжить, и тут же мы останавливались,

смущенные воспоминанием о Блоке, его «трагическим» примером. В глубине души, по складу своему мы, — придавая этому личному местоимению значение самое собирательное, расширяя его до включения анонимных, неведомых друзей, разбросанных волею судьбы по всему свету, — в глубине души, что же скрывать, мы были людьми толка скорей «достоевского», чем толстовского, воспринимая Толстого преимущественно, как упрек. И конечно, те леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство, эфирные струйки, о которых я упомянул, конечно, проскользнули они в нашу литературу при содействии Достоевского, или еще до него, но еле-еле уловимо, с Лермонтовым. Пушкин и Толстой — наши вершины, но беседа у нас легче налаживалась с Достоевским и Лермонтовым, они меньше нас стесняли и в общении с ними мы были свободнее. С Достоевским в особенности, по меньшей его сравнительно с Лермонтовым загадочности. В вольных, произвольных, нередко плохо кончающихся умственных странствованиях Достоевский даже казался вожатым с Бедкером в руках. Только полюбопытствовать насчет маршрута, заглянуть в книжку, он нам не давал, — да и знал ли сам, что в ней, на последних ее страницах, содержится?

Геббельс говорил, что при слове «культура» первая его, инстинктивная реакция: схватиться за револьвер. Револьвера у меня нет. Но когда я слышу и читаю размышления о «парижской ноте» русской поэзии, чувства у меня возникают отдаленно геббельсовские.

Чем ближе был человек к тому, что повелось «парижской нотой» называть, чем настойчивее ему хотелось бы верить в ее осуществление, тем больше у него сомнений при воспоминании о ней. Что было? Был не-

кий личный литературный аскетизм, а вокруг него, или иногда в ответ ему, некое коллективное лирическое уныние, едва ли заслуживающее названия школы. Для образования школы подлинной вовсе не обязателен был бы признак географический, в данном случае — парижский. Состав пишущих был в Париже случаен, отбор единомыслящих, одиночувствующих ограничен, и поэтическое содружество поневоле осталось искусственным. «Нота» могла бы сложиться иначе, и к этому я снова, не в первый уже раз, возвращаюсь: могли бы, должны были бы найтись друзья, раскиданные по разным странам, одни молодые, другие может быть изведавшие все, что суждено было узнать тем, кого революция застигла взрослыми, духовные родственники, об одинаковом догадывавшиеся, одинаковое улавливавшие, готовые наладить перекличку еще до стихов, еще до того, как влюбились они в Анненского и отвергли обольщение бальмонтовщины во всех ее видах.

В Париже было три-четыре поэта, которым жизнь помешала однако одушевить «ноту» и в согласном порыве довести ее до убедительной высоты и силы. Остальные, мнимые ее адепты — не в счет, по крайней мере в качестве адептов именно «нотных», да ведь и сообщено им было только то, чего следует избегать: то, что надлежит развить, осталось тайной. Утверждают, что авторство выражения «парижская нота» принадлежит Поплавскому, не имевшему к ней, кстати сказать, почти никакого отношения, творчески слишком непоседливому и в даровитости своей слишком расточительному, чтобы какую-либо дисциплину принять.

В основе, в источнике было, конечно, гипнотически неотвязное представление об окончательном, абсолютном, незаменимом, неустрашимом: нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим «все или ничего» и с отказом удовлетвориться чем-либо промежуточным. На Западе мы не были «дома» именно потому, что

здесь это «или-или» ни сочувствия, ни отклика не встречает. Французы предлагали нам оценить какие-нибудь необыкновенно смелые, меткие, красочные образы, а мы недоумевали: к чему они нам? Образ можно отбросить, значит его надо отбросить. Образ по существу не окончателен, не абсолютен. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «белого» и «черного», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад нам не нужны.

Основное было именно в ощущении: то, что может поэзией не быть, не должно ею казаться, не достойно ее имени. Поэзия — порыв, полет, говорили и говорят нам, — поэзия — это — крылатое вдохновение, забвение обыденщины, веселое преображение, радость, торжество, свобода. Допустим. Но если поэзия — порыв, полет, и все прочее, в том аспекте, в каком это неизменно вызывает «переходящие в овацию» аплодисменты любителей всего изящного и красивого, то разрешите вернуть билет на вход в поэтические сады. Не интересно. «Нота» может быть и скучна, но это еще скучнее.

В поэзии должно, как в острие, сойтись все то важнейшее, что одушевляет человека. Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой: если вдуматься, это то же самое. Но с каждой написанной строчкой приходилось горестно убеждаться, что это недостижимо, и оттого мы умолкали, или же писали стихи, над которыми сами готовы были усмехнуться: писали по привычке, от нечего делать, как от нечего делать ходят в гости или обсуждают текущие новости.

Зинаида Гиппиус однажды сказала мне: «в сущности вы хотите, чтобы в стихах не было слов». Да, но не в фетовском значении «сказаться без слов», то есть унести на поэтических крылышках в поднебесную

высь, совсем не в этом смысле: нет, найти слова, которые как будто никогда еще не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими. Их у нас не было, и оставалось только свернуть с дороги, которая от волшебной удачи отдаляла и представление о ней искажала. Другая формула принадлежит Поплавскому. После одного из долгих ночных монпарнаских разговоров он помолчав сказал, будто подводя итог своим возражениям:

— Знаете, что это такое? Это — поэзия от Пилата.

Остроумно в высшей степени: умываю руки, не могу сделать того, что хорошо, но не хочу и участвовать в том, что плохо. В устах Поплавского это был упрек. Но ему было чуждо многое, что внушено было крушением нашего мира и образовавшейся пустотой. А «нота», конечно, была с этим связана: хотелось спросить себя, что без привычных подпорок надо мне в жизни сделать и куда без костылей могу я дойти?

Конечно, это — эмигрантская тема, одна из тех тем, которые в эмигрантской литературе должны были бы оказаться развитыми. А отчасти это и наследие русского символизма, в том, что не было им досказано. Отцы может быть и отреклись бы от детей, но дети свою родословную знают и в ней их не собьешь.

Оправдание черновиков — или апология записных книжек.

В статье, в книге одно закругляешь, другое искусственно связываешь с тем, что в связи не нуждается. Нельзя без этого обойтись, как нельзя, идя в гости или на собрание, не придать себе более или менее пристойного, общепринятого вида. Уважение к читателю? Ни-

кто не спорит, к читателю действительно надо относиться с уважением. Но в результате остывшая мысль подогревается, разогревается и выдается за мысль живую. «В предыдущей главе мы указывали . . .», «из вышеизложенного следует . . .» и так далее. Часто случается, что главное, самое живое, — моментальная фотография мысли, — исчезает бесследно, растворившись в плавных, гладких периодах.

Да, бесспорно, за великими, основными человеческими книгами чувствуется долгая работа, огромное волевое усилие, проверка, охват темы во всем ее развитии, будто с птичьего полета. Оправдание черновиков может обернуться оправданием лени. Но иные, не «основные» книги выиграли бы, если бы остались в черновиках, как выиграла, например, посмертная книга Бунина о Чехове, которую он, Бунин, наверно обезличил бы, если бы готовя ее к печати выбросил, сгладил отдельные, в сердцах сделанные замечания на полях прочитанного. Да и вообще, кто же из пишущих этого не знает: бывает, исправляешь, час-другой подчищаешь, а потом с удивлением убеждаешься, что восстановил именно тот текст, который написан был сразу.

Критики требуют от авторов стройной последовательности изложения, солидной согласованности суждений, сплошь и рядом не замечая под этой внешней связностью отсутствия внутреннего единства. А только оно, это внутреннее единство, и способно что-то удержать от развала, связать, одухотворить, при любых противоречиях и скачках от одного к другому.

Оправдание черновиков, апология записных книжек . . . Есть однако и опасность: болтовня, розановщина, излишек внимания к самому себе, развязность, кокетство. Но ведь в каждой написанной строке таится опасность, от этого не уйдешь, — «боязнь фразы есть тоже фраза», по Тургеневу, — и в черновиках она все-

го только очевиднее. Риск «размахнуться Хлестаковым» в них сильнее, но тем сильнее и стремление остаться собой, каково бы твое «я» ни было. От себя тоже не уйдешь.

Розановщина... Пренебрежительное это словечко вырвалось у меня сейчас почти безотчетно. Нет, Розанов все-таки замечательный писатель, и помню, было время, когда был он для меня писателем чуть ли не единственным, «властителем дум».

Шестов справедливо заметил, что из всех наших «новых христиан» один только Розанов умеет произносить имя Божие в верном тоне. У Бердяева, и даже у Булгакова, священника, умения этого не было, и с марксистско-журнального лексикона они беспрепятственно перешли к темам религиозным, не уловив насущной потребности писать и выражаться иначе. Розанов кощунствовал, называл Христа «царем ужаса», дошел в удивительных своих примечаниях к рассказу Сикорского о сектантах-самосожженцах в терновских плавнях и до иного, худшего, но неизменно чувствовалось: нет, оскорбления Христа тут нет, это бунт человека, который и сам смутно тоскует, как бы «пострадать», он болен христианством, ранен, отравлен им и он мечется, хорошо зная в глубине души, что никакого избавления не хочет.

«И да сияют эти образа вечно». Это ведь Розанов написал, и никогда Бердяеву не написать бы предисловия к «Людям лунного света», никогда он со своим сильным, ясным аналитическим умом не поднялся бы к тому, до чего неизвестно как договаривался в минуты просветления болтун и путаник Розанов.

Конечно, болтуном он был. Нельзя сравнивать его с Паскалем, как делают это некоторые неумеренные его поклонники. Не говоря уж о мощи разума, у Паскаля был дар молчания, остановки, оставшийся Розанову неизвестным. Паскаль обрывает фразу, наполняя образовавшуюся пустоту таинственным смыслом. Розанов говорит, говорит, пришепetyивает, подмигивает, ухмыляется, намекает, сам себе возражает, — и случается, иногда недоумеваешь: только-то и всего, Василий Васильевич? Нельзя ли было бы покороче? Ничего и отдаленно-схожего не может случиться над книгой Паскаля.

А все-таки писатель замечательный, природно устремленный к «самому важному». Среди новых русских литераторов он один мог себе позволить решительно все, не «размахиваясь Хлестаковым», — потому вероятно, что был до самозабвения искренен и меньше всего думал о впечатлении, которое слова его произведут.

(Давнее мое сомнение, упрек самому себе: отчего никогда не написал, — а теперь уже не напишешь, поздно! — о том, что ночью, когда не спится, обрывками проносится в мозгу, о том, что с первых лет юности, может быть именно под воздействием Розанова, казалось «самым важным»: о Евангелии и о том, что в нем загадочно, об отсутствии «дна» в этой книге, о неистребимости надежды, которая мерцает и светит вдалеке, куда бы человек ни забрел, как бы ни запутался, о преодолении отчаяния, о том, рассчитана ли была евангельская проповедь на тысячелетия или наоборот на представлявшийся неминуемо-близким конец мира, — да, отчего не попробовал написать об этом, «среди всякой пошлости и прозы», постыло-привычной, обманчиво-поэтической, попытавшись перенять у Розанова его непогрешимое чутье ко лжи и правде слова, продолжив его темы, заразившись его страстностью в этих темах, но оставшись все-таки самим собой. А потом спохватываешься: и хорошо, что не написал! Подума-

ешь, о «самом важном»! Что получилось бы? Тремолло в голосе, самолюбование, чернила, чернила, чернила, будто бы ставшие кровью. Пиши, голубчик, лучше о внутренних отличиях пятистопного ямба от четырехстопного, тут по крайней мере и сорваться трудно).

У нас, в нашей культуре, да и вообще на Западе, — поскольку мы все-таки — Запад, и от него, надеюсь, не отречемся, — у нас есть только две большие темы: христианская и эллинская. Все сколько-нибудь значительное связано с их развитием, а в особенности с их скрещением, с их борьбой.

У французов до сих пор все идет по этим двум скрещивающимся и расходящимся линиям, — линии Монтеня и линии Паскаля, — и духовная родословная каждого сколько-нибудь значительного французского писателя этими именами определяется. Да и могло ли быть иначе? Больше трех сот лет тому назад французам было в упор, без обиняков, разъяснено, в чем тут дело: разъяснено не с уклончивой объективностью свидетеля, а с нетерпимостью участника, не допускающего колебаний, требующего «да или нет», «со мной или против меня». Несколько строк мученика-Паскаля в упрек жизнелюбцу-Монтеню, — тот будто бы только тем и озабочен, чтобы «умереть безмятежно и малодушно»! — несколько этих строк так невероятно-проницательны, так гениальны в способности схватить самую сущность разлада, что нечего к ним и добавить.

У Сент-Бева, в одной из его понедельничных «Бесед», есть замечательная и фантастическая страница: похороны Монтеня,

За гробом учителя, «основоположника», идет вся французская литература. Мадам де Севинье рассказы-

вает придворные сплетни и слухи. Буало, окруженный учениками, толкует о правилах построения трагедии. Вольтер, насмешливо косясь на Руссо, «обезьяну вообразившую себя Сократом», тут же сочиняет на него эпиграмы, Виктор Гюго вполголоса декламирует новую оду, — словом, все как обычно, каждый занят своим, до покойника никому нет дела.

Последним, вдалеке от других, идет Паскаль — и «только он плачет».

Это — несколько произвольный комментарий к монтене-паскалевскому расхождению. Но комментарий полный смысла.

В России дело осложнено тем, что в нашем Монтене, Толстом, неожиданно проснулся Паскаль, впрочем дремавший в нем смолоду, — и возненавидел, сжег все то, к чему предназначен он был природой.

Но и для нас очерчен тот же круг идей, с естественными индивидуальными особенностями двух писателей, которыми они отчетливее всего представлены: Толстым и Достоевским, конечно. Оттого мы постоянно о Толстом и Достоевском и говорим, и будем говорить еще долго, сколько бы ни удручало это и ни раздражало любителей новинок и так называемых «новых течений». Имена можно было бы и не называть, в разговоре мало что изменилось бы, разве что он потерял бы ясность.

Достоевский тоже плакал бы на похоронах Толстого, и вероятно тоже плакал бы «один», — в особенности, если представить себе Достоевского истинного, такого, каким он отражен в великих своих романах, то есть освободившегося от суетливой и завистливой мелочности, одолевавшей его в повседневной, вне-творческой жизни.

Кстати: теперешняя Россия, советская, так страшно опровинциализалась, так обездарилась, несмотря на обилие несомненных и больших талантов, именно потому, что приняв и усвоив тему Монтеня, пусть и с ленинскими поправками, лишь «постольку-поскольку», она игнорирует тему Паскаля. Нет скрещения, нет трения, дающего огонь, и оттого все стало бесцветно и пресно. Кажется, в последние годы Россия начинает это чувствовать, и дай ей Бог поскорее очнуться!

По Альберу Камю мечта каждого подлинного писателя: «усвоив все то, что есть в «Бесах», написать когда-нибудь «Войну и мир». Или иначе: «ценой смирения и мастерства найти путь к общечеловеческому искусству».

Замечательно, что Камю упомянул о смирении, о скромности, — „humilité“ во французском тексте. Едва ли он знал, что Чехов сказал о Достоевском почти тоже самое: «не достаёт скромности». Чехов о Достоевском говорил вообще неохотно, будто стесняясь признаться, что не любит его, — вроде того, как Чайковский стеснялся говорить, что не любит Шопена. Карамазовские бунты и неприятия мира были повидимому ему не по душе: о чем тут толковать, все и так ясно, «пойдем лучше чай пить», как говорит старый профессор в «Скучной истории».

Надо бы установить, был ли когда-нибудь хоть один случай несомненного, бесспорного предвидения будущего. Говорят, св. Серафим Саровский видел убийство

Александра II, рассказывают и о многом другом в том же роде . . . Но насколько все это достоверно?

Если можно видеть будущее, хотя бы только один, единственный раз увидеть его, значит будущее где-то есть: *есть*. Нельзя видеть того, чего нет. Если кто-нибудь видел будущее, значит оно уже существует (но еще не дошло до нас, или мы не дошли до него). Машина мироздания очевидно дала перебой, осечку, и в образовавшуюся на миллиардную долю секунды трещинку мелькнуло что-то, к данному времени не относящееся. Как на кинематографической ленте: сцена из другого эпизода.

А если будущее уже существует, то от нашей свободы воли, как в обосновании ее ни изворачивайся, не остается ровно ничего. Если в припадке философического отчаяния я даже покончил бы с собой, то и это в какой-то программе уже занесено и предопределено: ни вызова, ни своеволия. Кириллов попал в просак.

По моему это неопровержимо, то есть неопровержима связь существования и предвидения.

Но тут же холодный ветерок: а почему, собственно говоря, ты столь «неопровержимо» уверен, что мир построен по законам, совпадающим с законами твоего разума? Ведь если даже в плане материальном далеко не все в мире согласовано с нашим разумом, — в чем теперь уже не осталось сомнений, — то почему должно существовать согласие там, где и материи-то нет?

(Алданов справедливо сетовал на Зеньковского за умолчание о Лобачевском. В своей обстоятельной и добросовестной «Истории русской философии», где не обойден вниманием ни один приват-доцент, Зеньковский о Лобачевском просто-напросто забыл. А ведь догадка о том, что Эвклид вовсе не всегда и не везде общеобязателен, ошеломляюще огромна в своих выводах. Достоевский это уловил и в разговоре Ивана с Алешей

об этом упомянул. Куда же мне в самом деле понять пути мироздания и «финальную гармонию», если даже того не в состоянии я понять, что параллельные линии могут где-то сойтись!)

Не «стиль — это человек», а ритм — это человек, интонация фразы — это человек. Стиль можно подделывать, стиль можно усовершенствовать, можно ему научиться, а в интонации фразы или стиха пишуший не отдает себе отчета и остается самим собой. Как в зеркале: обмана нет.

В нашей литературе было три гения интонации: Лермонтов, Толстой и Блок.

К Блоку следовало бы поставить эпиграфом последнюю строчку пушкинских «Цыган»: «И от судеб защиты нет». Удивительно у него чувство солидарности со всеми людьми перед лицом слепых «судеб», круговая порука, которой он себя связывает. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы...», — забываемо! Повторяя такие строчки, говоришь себе: «нет, Блок все-таки — поэт единственный», и это в данный момент верно, как мгновенный отклик читателя по эту. Но читая Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова или Анненского, говоришь себе то же самое.

Лермонтов был близоруко недооценен многими «мэтрами» нашего Серебряного века, которому впрочем лучше было бы называться веком посеребренным. Им, как и когда-то Жуковскому, не по душе была его риторичность, порой в самом деле напоминающая юнкера Грушницкого. Но за «младенческой печалью» Лермонтова, за его «как будто кованным стихом», — по ироническим формулам Брюсова, — они не расслышали райского тембра его голоса. Не почувствовали, что ри-

торику это искупает. Помню, Гумилев, сидя у высоких полок с книгами, говорил:

— Если мне нужен Баратынский, я не поленюсь, возьму лестницу, полезу хоть под самый потолок... А для Лермонтова нет. Если он под рукой, возьму, но тянуться не стану.

Насчет Баратынского споров нет, он заслуживает того, чтобы взять хоть десять лестниц: учитель, мастер, образец достоинства, правдивости, сдержанности. Но Лермонтов... как бы это объяснить? Лермонтов, это совсем другое. «По небу полуночи...»: волшебство, захватывает дыхание.

Проверяю себя: неужели действительно эти полстрочки, взятые отдельно, так волшебны? Или сказывается самовнушение, гипноз? Допускаю, что если бы эти полстрочки только полстрочками и остались, головокращения они не вызвали бы. Но они гениальны как вступление к тому, что открывается дальше: все, что дальше сказано, в этих трех словах обещано, безошибочно предвещено. «По небу полуночи»: если бывает в поэзии магия, вот ее несравненный пример.

Иногда у Лермонтова слышна та же круговая порука, та же «круго-поручная» интонация, которая позднее была подхвачена и развита его учеником Блоком. «Я говорю тебе, я слез хочу, певец...», «Подожди немного...» Или в начале «Валерика» чудесное в своей прозаической непринужденности «во-первых», сразу дающее стиху особую его мелодию:

Во-первых потому, что много
И долго, долго вас любил...

А риторика действительно была, только не Брюсову бы о ней говорить.

Случайная цитата из Толстого, при том не из романа или повести, которые автором отделялись и исправлялись, а из письма к другу, Бирюкову, года за два до смерти. Толстой вспомнил о своем выступлении на суде, в начале шестидесятых годов, по делу унтер-офицера Шибунина, ударившего своего ротного командира по щеке и затем расстрелянного, — вспомнил и писал:

«Ужасно возмутительно мне было перечесать эту мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов Божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я не нашел ничего лучшего, как ссылаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами. Ведь, если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себе, что вследствие того, что они так сели и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатными заголовками написаны известные слова, — что вследствие этого они могут нарушить вечный, общий закон, написанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, то ведь одно, что можно сказать этим людям, это то, чтобы умолять их вспомнить, кто они и что они хотят делать . . .»

Никак нельзя сказать, что это «хорошо написано». Покойный Карсавин, даровитый человек, и по своему человек проникательный, настойчиво утверждавший, что Толстой писал плохо, неуклюже, косноязычно, надо думать, с удовольствием сослался бы на эти строки. Шутник Ремизов, решившийся высказать мнение, что Толстой был «словесно бездарен», тоже им вероятно обрадовался бы, как подтверждению своей оценки.

Да, нельзя сказать, что это «хорошо написано». Но можно и надо сказать, что за редчайшими исключениями, самые совершенные образцы русской прозы туск-

неют и чуть ли не кажутся словесной трухой рядом с этим «косноязычием», изнутри оживленным библейской огненной несговорчивостью, и что с такой силой, с таким верным соответствием между «что» и «как» никто никогда в России не писал.

На цитату эту я натолкнулся, перелистывая для справки книгу Гольденвейзера «В защиту права». Перечел и подумал, что Горький-то пожалуй был прав: если человек может так писать, то действительно «человек — это звучит гордо».

У молодых есть все преимущества перед старыми. Все, кроме одного: старые знают, что каждое поколение приходит со своей правотой и своими иллюзиями. Молодые видят только свою правоту и склонны счесть ее правотой окончательной.

Умный Базаров был бы еще умнее, если бы догадался, каким тупицей прослывет он у первых эстетов и декадентов.

Корни все усиливающего в наше время внимания к Тейяр-де-Шардену повидимому связаны со смутной, безотчетной тревогой: не изменяет ли человек самому себе? Расширение, распыление культуры, — как бы оно ни было нравственно оправдано, — не грозит ли торжеством тупости и «всемства», пугавшим Конст. Леонтьева? Если миллиарды лет тому назад возникло одухотворение материи, если много, много позже началось — по Тейяру — «очеловечение» земли, с долгими веками той же работы впереди, то не приобретает ли понятие культуры оттенка метафизического? Не в том

ли единственно-важное человеческое дело, чтобы довести одухотворение и очеловечение до конца?

Далеко не все эпохи в себе сомневались. Восемнадцатый век, а за ним и девятнадцатый, шли вперед в уверенности, что с пути свернуть уже не придется. Но история подставила заносчивому веку ножку, и он споткнулся и растерялся. К сожалению? Да, все-таки к сожалению. Путь был в общих чертах верен, только походка была не совсем та, какая нужна бы. Были шоры, была нетерпимость... Но теперь, после всех наших крушений и передраг, на развалинах прежнего мира, человек оглядывается, тревожится: не оказаться бы предателем? Тейяр именно о возможности предательства напомнил, хотя сам ее не допускал.

Сартр и Альбер Камю.

Эти два имени постоянно называются рядом, — вероятно потому, что когда-то их связывали общие темы, были они друзьями, затем резко и шумно разошлись, и это их расхождение вызвало долгие споры. Это одна из тех литературных «пар», о которых сам собой возникает вопрос: кто же из них больше, выше? Вопрос бессмыслен, все с этим согласны, но отвыкнуть от него трудно: Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Корнель и Расин... примеры классические, а есть и множество других, помельче.

Вспомнил я Камю однако не для сравнения с Сартром, а потому, что им, его личностью, его писаниями отчетливо оттеняется то, что есть в Сартре особого. Сартр и Камю связаны, но и резко разделены: были разделены еще до ссоры. Два мира, друг другу противостоящих, два «мироощущения», чуть ли не две эпохи, причем эпоха, которую предвещает Сартр еще не совсем

ясна и он сам как будто еще отвергает предназначенное ему в развитии культуры место.

Не думаю, чтобы по размерам своего дарования Камю был подлинно великим писателем. Но это — писатель, у которого ум, совесть и сердце еще находятся в естественном и нерасторжимом согласии, можно бы даже сказать — в сотрудничестве. Это — человек, в том смысле, в каком слово это действительно «звучит гордо», и в каком можно его отнести к великим писателям прошлого. У него в рабочем кабинете висело только два портрета: Толстой и Достоевский, — и кстати, уместно вспомнить, что когда один из его советских посетителей стал жаловаться на недостаток внимания к России со стороны западной интеллигенции, Камю вместо ответа обернулся и молча указал ему на эти портреты.

Сартр необыкновенно умен. Ум, «острый галльский смысл» обнаруживается не только в его теоретических рассуждениях, но и в каждой написанной им фразе, в умении найти незаменимое, хотя порой и неожиданное, слово, в безошибочной расстановке слов, в точности, в исчерпывающей меткости малейшего эпитета. При чтении требуется усилие, чтобы уловить и оценить не стилистическое мастерство в обычном значении этого понятия, вовсе нет, а именно ум, сквозящий в этой суховатой, обманчивой стилистической простоте. Какого бы современного французского писателя после Сартра ни взять, чуть ли не все кажется вялой словесной канителью.

Но ум находится у Сартра в положении самодержавного, неограниченного монарха. Он всем управляет и раздела власти не признает. При читательской рассеянности может — и даже должно — возникнуть впечатление противоположное: в самом деле нет сейчас писателя, который настойчивее твердил бы о морали и моральных вопросах. Сартр во всеуслышанье заявляет, что стыдно заниматься сочинением романов и

стихов, когда миллионы людей голодают и бедствуют. Сартр ратует за социальную и расовую справедливость, за равенство и прекращение войн, за уничтожение последних остатков колониализма, и не случайно Мориак назвал его «Толстым в миниатюре». Сравнение однако явно насмешливо. Не говоря уж о Толстом, трудно найти пример подобного отсутствия эмоциональной заразительности, подобной выхолощенности прекрасных призывов и порывов, подобного торжества «литературы» при ожесточенном отрицании ее. Все от ума, все под диктовку ума, и оттого все как будто впустую! Защита угнетенных внушена исключительно ненавистью к угнетателям: ни одного слова, в котором чувствовалась бы жалость к жертвам и боль за них. Симон де Бовуар, друг и подголосок Сартра, писала в «Силе вещей», что «Камю отстаивал буржуазные ценности, в то время, как Сартр верит в правду социализма». Вздор, который стыдно читать, — если только не подводить под понятие буржуазности все то, что до сих пор называлось человечностью.

Надо все же без колебаний и с некоторой горечью признать, что Сартр гораздо значительнее, чем Камю, как явление, как голос из будущего. Сартр — это именно явление. Зловещие утопии, нарисованные Орвеллом, Хэксли, или у нас Замятиным в «Мы», всегда представлялись мне домыслами из разряда «он пугает, а мне не страшно». Есть в этих книгах что-то торопливое, плохо проверенное, да и чисто литературный их уровень не Бог весть как высок: оттого и мало было к ним доверия. Но как знать? Может быть что-то в них угадано? От книг Сартра, написанных скорее в опровержение орвелло-замятинских фантазмагорий, чем в их поддержку, веет тем же ветерком ледяной справедливости, ледяного и неумолимого равенства. Ни одной оплошности в нравственно-социальных расчетах, ни одной уступки человеческим слабостям и мечтаниям. И человек задыхается. Сартр как будто — первый пришелец

из неведомого «оттуда», первый несомненно большой писатель с каким-то кибернетическим привкусом в творчестве, первый давший возможность почувствовать то, что может быть действительно ждет людей в далеком или близком будущем. Он не пугает, но читателю страшновато.

Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают ни малейшего сомнения насчет того, что бывшие открытия превратились в мелко-общедоступные, механизированные приемы. Почти все эти книги внутренне ничтожны. Это в сущности — «вагонное чтение», с подлинным творчеством имеющее мало общего. Их читают, чтобы «убить время», ни для чего другого.

Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где все «совсем, как в жизни», глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее взглядеться — самой изысканной экзотики. Достаточно растворить окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным, — и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытия, — чтобы ощутить, до чего непонятно наше существование, даже в примелькавшей своей оболочке. Что это все такое, вокруг нас? Где мы? Откуда мы? Есть какое-то малодушие в бегстве новых художников от непостижимости

ближайшей, зримой реальной во всевозможные сны и выдумки. От реализма к «сюрреализму», хотя бы в самых обольстительных и усовершенствованных его формах.

Алданов однажды сказал в присутствии Бунина:

— Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате»...

Бунин покачал головой, поворчал:

— Что-то, Марк Александрович, стали вы чересчур строги! Были и после Толстого неплохие писатели...

Но мне показалось, что ворчит он скорее так, для виду, чтобы не сразу сдаться, а на деле с Алдановым согласен.

Русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». Да, но было все-таки смутное, горестное, растерянное послесловие к ней — Блок. Сказать с уверенностью, что Блок был талантливее всех других писателей нашего века нельзя. Но дело не столько в таланте, сколько в том, что поэзия Блока изнутри оживлена дыханием судьбы, присутствием судьбы. «Он весь — дитя добра и света...»

У Бунина, у Горького нет судьбы. Одно очень хорошо, другое пожалуй слабее, но за словами ничего не происходит. Нечему гибнуть, нечему торжествовать.

Есть величина таланта и есть качество таланта: понятия далеко не совпадающие, по существу даже совсем разнородные. Мне никогда прежде не приходило это в голову, а когда внезапно пришло, — не помню, над какой книгой, — многое в литературном прошлом и

настоящем сделалось яснее. Привычная, традиционная табель о рангах оказалась нарушена, но лишь потому, что обнаружилась условность или ошибочность мерила, на котором она держалась.

Есть писатели бесспорно очень даровитые и все-таки ничтожные. Читаешь и думаешь: зачем я это читаю? Блестяще? Да, блестяще. Остроумно? Да, в высшей степени остроумно. Но и при блеске, и при остроумии, и при стилистической виртуозности, это все-таки плохой писатель. Плохой, то есть как бы не питательный. Бумага, чернила. Нет воды и хлеба, без которых нельзя жить.

Кстати, о вопросе «зачем?»

Если писатель, как бы вдохновенен он ни казался, ни разу не остановился над своей рукописью, и неожиданно смущенный мыслями о суетности своего дела и об искажении первоначального видения, ни разу не спросил себя «зачем я пишу?», «какой смысл, в том, что я пишу?», если он ни разу не был этими вопросами взволнован и озадачен, то едва ли это писатель подлинный, пришедший с чем-то своим, до него не сказанным. Пожалуй плох именно тот писатель, который «творит» с неизменным удовлетворением, — как бодро хлопнув себя по ляжкам, в разговоре с уже больным, отступавшим перед всяческими «зачем?» Тургеневым, сказал Боборыкин («А я, знаете, наоборот, пишу много и хорошо!» Слышал удивительный этот рассказ от Мережковского).

Некоторая переменчивость оценок, мнений и суждений не есть результат общей их неустойчивости и еще менее «каприза», как нередко утверждают: для одних она непонятна, для других неизбежна.

И те, для кого она неизбежна, в ответ на упреки только разводят руками: как же может быть иначе?

Разве иные великие, даже бессмертные произведения не написаны в форме диалогов? И разве не от того авторы их выбрали именно эту форму, что видели возражения, которые сами себе могли бы сделать, не считая нужным их скрывать? В «Федоне», например, два центральных возражения Сократу глубже и значительнее всех его дальнейших цифровых выкладок, которые если что-нибудь и доказывают, то не бессмертие души, а лишь то, что разум в еще младенческом вдохновении своем, еще сам себе изумляясь, возвел логику в верховное, непререкаемое божество.

Но оставим эти высоты, спустимся к нашим родным равнинам. Разве Герцен не двоится, не колеблется, не противоречит порой сам себе, в то время, как Чернышевский неизменно долбит одно и то же, не устаивая ни во что чуждое себе вдуматься? И разве не оттого это так, что Герцен бесконечно проницательнее, дарование Чернышевского и видит в каждом явлении многое, чего тот и не подозревает? Я вовсе не хочу сказать, что все колеблющиеся, все кому случается высказать об одном и том же явлении противоречивые суждения, — в частности в литературной критике, — непременно умны и талантливы. Конечно, нет. Колеблющихся тупиц на свете много. Но заранее требовать на протяжении всей жизни строгого единства оценок тоже нельзя. Хорошо сказал Толстой: «Я не воробей, чтобы всегда чирикать то же самое».

Помимо того: в литературе, в искусстве, во всем, что объединено общим словом «культура», речь в конце концов идет как бы о возведении некоего общего храма. Возникает чувство ответственности: не ошибиться бы в расчетах. Действительно ли нужно то-то, не окажется ли никчемным и даже вредным другое? Годы, годы поисков, отступлений, самопроверок, на весь тот срок, который каждому из нас отпущен. А тут выска-

кивает какой-нибудь шалун и бойко всех расталкивает: позвольте, я здесь в два счета приделаю балкончик с резьбой, что это вы в самом деле то работаете без устали, то разбиваете только что сделанное и часами стоите в оцепенении!

Не помню, решился ли кто-нибудь, — при всесветной, и что же тут толковать, вполне оправданной славе Достоевского, при сложившемся на Западе, особенно на Западе, убеждении, что уж если кто-нибудь глубок и прозорлив, то именно он, при его ореоле, при необычайной его власти над новыми, по новому встревоженными умами, — не помню, сказал ли кто-нибудь, что «Легенда о Великом Инквизиторе» — произведение опрометчивое и легковесное. Вспоминаю только восторги: «величайшее создание Достоевского», утверждает Мочульский, «залитые бессмертным светом страницы», по Розанову, и так далее.

Не касаюсь оценок чисто литературных, эстетических, хотя даже и с этой точки зрения никак не могу согласиться, что декламационно-риторическая, театрально-эффектная «Легенда» представляет собой у Достоевского некую вершину. Нет, вершины у него другие. Но существенно не это.

Такие слова, как «опрометчивость», «легковесность», будучи отнесены к писателю, который признан гордостью России, могут вызвать возмущение, и даже наверно его вызовут. Возмущение однако было бы основательно лишь в том случае, если бы против Достоевского, как мишень, как предмет его сарказмов, не стояло нечто, что все-таки гораздо больше и его самого, и всех его книг вместе взятых: христианская Церковь. Удиви-

тельно, что наши благочестивые авторы не обратили на это достаточно внимания! Правда, оклеветана в «Легенде» церковь католическая, а не православная. Но дело это меняет мало, скорей даже ухудшает позицию Достоевского, ибо тут дает себя знать славянофильство, типично славянофильская смесь притворного смирения с ничуть не притворным патриотическим самоупоением и заносчивостью. В этом повинен даже мудрец-Тютчев, обозвавший римского первосвященника «ватиканским далай-ламой». * Будто бы в православии, в православном быту, евангельская проповедь сохранилась во всей своей первоначальной сияющей чистоте, будто бы нам, русским, и упрекнуть себя не в чем, будто не все мы одинаково грешны одним и тем же! Не надо бы ведь забывать, что обличитель Рима, ревностный церковник Достоевский называл себя единомышленником Победоносцева и по собственным своим словам восторженно следил за его «драгоценной деятельностью».

Основное утверждение «Легенды» верно и просто, как дважды два четыре: Церковь от Евангелия отступила и в течение веков не нашла в себе силы устоять перед соблазном житейских и государственных компромиссов. Этого отрицать нельзя, с этим всякий беспристрастный человек согласиться должен, тяжело ему это или нет. Но Достоевский в своем воинствующем анти-католицизме делает чудовищный скачек вперед: «Мы не с Тобой, мы с Ним», говорит у него Христу старик кардинал, «мы с Ним», то есть мы с Дьяволом, — и здесь сразу напрашивается столько возражений, исторических, идейных, моральных, что не знаешь, с чего и начать. Памятник опрометчивости, — хочется мне

* Тютчеву же принадлежит удивительное объяснение гибели французской армии в 1812 году. Наполеон, «воитель дивный», не предвидел, по его мнению, «лишь одного»: того, что противником его будет не Барклай де Толли, не Кутузов, а сам Христос. А стихотворение это — «Проезжая через Ковно» — само по себе необыкновенно хорошо: один из тютчевских шедевров.

повторить, — непревзойденный образец полемического ослепления и клеветы! «Мы не с Тобой, мы с Ним». Достаточно взглянуть на взвивающиеся к небу стрельчатые готические соборы, чтобы уловить в них ответ сошедшему с ума кардиналу.

Есть маленькая, исключительно содержательная книжка, вышедшая много лет после появления «Легенды», но касающаяся затронутых в ней тем, — «Евангелие и Церковь» Альфреда Луази. По причуде судьбы именно за нее Луази, бывший священник, ученейший церковный историк, основатель целой школы, оказался отлучен от Церкви по обвинению в «модернизме». Между тем едва ли было когда-нибудь написано что-нибудь более страстное и проникательное в защиту и оправдание Церкви, как исторической необходимости, как установления, без которого христианство оказалось бы исторически неосуществимо. Луази спорит не с Достоевским, — он его и не называет, — а с Адольфом Гарнаком, автором знаменитой «Сущности христианства», протестантом и значит противником Рима. Отчасти спорит он и с Ренаном, повидимому допускавшим, как и Гарнак, что евангельское учение рассчитано было на тысячелетия, что оно могло сквозь эти тысячелетия пройти и в них полностью уцелеть, и в связи с этим решившимся сказать, что «история Церкви есть история измены» (в «Апостолах»), история умышленно сделанного отступнического выбора. Измена? — будто бы спрашивает Луази. Измена? Но ведь не будь этой измены, не осталось бы ровно ничего, все исчезло бы, все оказалось бы безвозвратно забыто, — приблизительно так же, скажу от себя, как происходит это в рассказе Анатоля Франса о состарившемся Понтии Пилате, только и способном промямлить в ответ на расспросы друзей: «не знаю... право ничего не помню».

Читая послания Апостолов, — не столько Павла, сколько другие, — убеждаешься ведь чуть ли не на каждой странице, что первые последователи и ученики

Христа ждали конца мира и чудесного свершения того, что было им обещано, со дня на день, с часу на час. А свершение откладывалось, оттягивалось, непостижимо опаздывало, и пришлось жить, устраиваться, ограничиваться, свыкаться, мечтать, надеяться, каяться, молиться — и по мере сил хранить остатки света. «Мы не с Тобой, мы с Ним». Нет, остается только верить, что проживи Достоевский дольше, он сам пришел бы в ужас от этого безумного навета и вообще посоветовал бы своим неумеренным поклонникам поменьше «Легендой» восхищаться.

Ницше сказал о хоре пилигримов в «Тангейзере», что это — «самая католическая музыка в мире».

Вот бы Достоевскому в нее вслушаться, расслышать в ней то, что уловил Ницше: упорство, волю, передаваемое из поколения в поколение согласие на подвиг, готовность нести Крест, отсутствие отречения и предательства...

Впрочем Достоевский отзывался и о Вагнере по своему: «прескучнейшая немецкая каналья».

Еще о Достоевском и его наследии.

Конечно, мир менее плосок, чем представляли себе это самоуверенные «передовые» люди в прошлом столетии, последыши Белинского. Конечно, мир загадочен, и сколько бы ни были ошеломительны новейшие научные открытия, «царство науки знает предел». Будь это иначе, загадочность предстала бы еще бесконечно большей: как, значит есть только то, что мы видим, то, что мы понимаем, только то, что на крайность можно было бы уложить в математические формулы? Ничего другого? Да ведь это было бы в миллионы раз невероятнее

и необъяснимее, чем любая нарочитая непонятность! Тайны существуют, не могут не существовать. Но нам-то, нам-то, — да и то мало кому, — видна лишь узкая-узкая щель и почти ничего за ней. Что-то как будто брезжит, что-то светится, но может быть это всего только мираж. А он, Достоевский, широко распахнул воображаемые ворота, в которые и бросились вслед за ним бесчисленные ученые и полуученые комментаторы, и принялись они вкривь и вкось рассуждать о том, о чем возможны только слабые, смутные догадки.

Достоевский — великий, огромный писатель. Но многое из того, что им в критической литературе вдохновлено, многое, что о нем написано, до крайности тягостно.

У Карла Ясперса в его «Философской вере» сказано: «Человек не удовлетворен самим собой. В нем живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием, с его знаниями и его духовным миром».

Это — почти дословно то же, что говорит Толстой о князе Андрее, которому хочется плакать, когда он слушает, как поет Наташа: несколько удивительных строк, достойных того, чтобы поставить их эпиграфом ко всей русской литературе. Эпиграфом и предостережением: не идите дальше, не выдумывайте ничего другого, потому, что будут это именно только выдумки, только пустые домыслы. Больше о самих себе мы ничего не знаем и никогда не узнаем.

Ну, а как же с интуицией, которую иные русские философы даже обосновали», как же с гениальными метафизическими построениями, по праву составившими за две тысячи лет славу и гордость человечества? Когда-то за воскресным чайным столом в Кламаре, у Бердяева, рассуждавшего с одним из гостей о том, чего Бог требует от человека, и авторитетно, очевидно с полным знанием дела растолковывавшего непонятли-

воту посетителю, в чем эти божественные требования состоят, я вполголоса спросил хозяина:

— Откуда вы все это знаете?

Бердяев обернулся, усмехнулся и ответил какой-то шуткой: «вопрос, мол, глупый, ребяческий». Приблизительно то же самое произошло у меня однажды со Степуном. Допускаю, каюсь, может быть вопрос в самом деле глупый. Действительно, не было бы некоторых величайших, вдохновеннейших философских систем, если бы невозможность проверки и ответа принята была за преграду. Потеряны были бы великие богатства.

Но каюсь и в том, что эта невозможность ответа представляется мне все же бесконечно значительной, не менее полной смысла и духовного веса, чем любая метафизическая система. Кстати, тот же Ясперс, человек религиозный, в той же своей книге полностью признает, что доказывать существование Бога можно было только до Канта, а теперь заниматься этим способны только мыслители мало добросовестные (к которым он с оговорками причисляет Гегеля). Вот именно! И не только доказывать существование Бога, а и логически рассуждать обо всем, что нашему разуму недоступно. (Лосский упрекает ненавистный ему пантеизм в том, что тот «не логичен». Как будто логика в этих догадках может иметь решающее значение, как будто заранее известно, что все беспредельное бытие нашей логике подчинено!) Уверенности нет, уверенности ни в чем быть не может, а «интуитивные» соображения и построения... что же, доступ к ним широко открыт всякому. Плохо однако то, что сколько бы их ни было, как бы стройны и убедительны они порой ни казались, все они расходятся. Единство недостижимо. Его никогда не было и не будет. Каждый мыслитель предлагает свое, личное, произвольное, ни для кого другого не обязательное и большей частью противоречащее всему предложенному прежде.

И поневоле остаешься с князем Андреем и с одним только блаженно-мучительным сознанием невозможности самим собой удовлетвориться, чувствуя однако, что в нем-то и таится «бессмертья может быть залог».

Михайловского когда-то просили дать статью о свободе печати. Он ее написал, но потом признался, что писал с трудом, — труднее, чем другие свои статьи. Всю жизнь думая о свободе печати, ища все новых доводов в ее защиту, он забыл доводы основные. Пришлось вспоминать, возвращаться к истокам.

Человек, который всю жизнь думал о поэзии, — в частности, о поэзии русской, во многом расходящейся с западной, — находится приблизительно в том же положении. Может быть он плохо думал, путаясь, сбиваясь, противореча сам себе, а главное — принимая свои спорные, личные пристрастия за непреложные истины. Может быть. Но если думал он о поэзии всю жизнь, ему хочется «подвести итог», спросить себя, что же такое в конце концов поэзия, в чем ее сущность, в чем ее смысл и пожалуй даже в чем ее оправдание. Да, в чем ее оправдание, — в ответ тем, кто балуется стишками, пребывая при том в непоколебимой уверенности, что всякий стихотворец — существо избранное, отмеченное Богом и что поиски рифм и придумывание образов представляют собой занятие высшего порядка.

В чем сущность поэзии и в чем ее смысл? Чем настойчивее и упорнее об этом думаешь, тем неотвратимее втягиваешься в области почти метафизические.

Если бы в чем-нибудь метафизическом быть уверенным, ответ был бы ясен. По крайнему моему разумению заключался бы он в том, чтобы служить единственно-важному человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое может быть и свершится в далеких будущих веках... Но сослага-

тельное «бы» при раздумии мало-помалу теряет значение, перестает быть препятствием. Даже если бы все оказалось иллюзией, даже если ты со своим мнимым «одухотворением» всего только разобьешь себе голову о стену, другой ставки у нас нет. Да и риска в ставке нет: как в «пари» Паскаля, выиграть можно, проигрывать нечего. Поэты, «надо дело делать». Но как его делать? Как?

Конечно, не рассудочно-дидактически, с постоянной, назойливой памятью о цели: рассудочность все засушила бы и убила. Нет, иначе. Не думая о воздействии на читателя, о впечатлении, которое будет произведено. Отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой. Не боясь одиночества, ища в одиночестве — как бы сквозь себя — связи с миром и будущим, веря, что в одиночестве связь эта окажется прочнее и вернее, чем в рассеянном житейском общении. Будто бросая бутылку в море: кто-нибудь найдет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь продолжит. Зная, что если есть солнце, то не к чему развешивать разноцветные электрические гирляндочки... Трудно все это связно объяснить, не только другим, но и самому себе. Оттого вероятно и вспомнился мне Михайловский.

Формула «делать дело» обманчиво совпадает с требованиями, предъявляемыми к поэзии в Москве, хотя внутренне ничего общего с ними не имеет: нельзя же смешивать дело с делишками и многовековую, молчаливую духовную работу, ощупью, приправленную бесчисленными западнями и внезапными пробуждениями в тупике, нельзя же отождествлять даже слабое подобие ее с одами, внушенными очередной партийной резолюцией и прочим. Не стоит об этом и говорить: лошади едят сено и овес.

Надо дело делать, — и к великой чести Блока следует сказать, что он чувствовал это глубже какого-ли-

бо другого нового русского поэта. Чем был бы без него русский модернизм, этот столь теперь восхваляемый «серебряный век», похожий на пир во время чумы? «Век» был вызывающе беспечен, и беспечность свою с гордостью противопоставлял наследию столетия предыдущего. «Век» бессовестно играл в тайны, многозначительно давая понять, что узнал что-то важнейшее, открыл что-то вещное, — и многие из нас, из тогдашнего декадентствовавшего стада, из тогдашней желторотой литературной молодежи, откликались, ловились на удочку и с дрожью раскрывали «Весы» или даже поздний, уже обмельчавший «Аполлон», надеясь вот-вот прозреть, приобщиться, удостоиться посвящения.*

Блок по природной честности своей не допускал обмана, верил не только Соловьеву, но и тем, кто на фальшиво-глубокомысленной интерпретации соловьевских трех видений бойко делал литературную карьеру. А когда догадался, что был одурачен, сделался навсегда угрюм и печален, вплоть до революции, которая его не оживила, нет, а только гальванизировала. Не в этом ли ключ к «Двенадцати»: обида, счет за духовное шулерство, поиски хоть какого-нибудь выхода и избавления? Блока возвышает не столько самый талант, сколько требовательная и настороженная серьезность таланта, отталкивание от комедианства, слух к ошибкам и горечь от сознания их, в частности своих личных, к которым перед смертью причислил он «Двенадцать», как

* Думаю все же, по далеким, дорогим воспоминаниям, что «что-то» загадочное, неподдающееся определению, «какой-то отблеск какого-то света» тогда действительно мелькнул в сознаниях. Но сколько было лживой шумихи, бесподобно описанной Андреем Белым, сколько было подделок, подлаживаний! Уже здесь, в Париже, у меня был об этом любопытнейший разговор с Зинаидой Николаевной Гиппиус, «бабушкой русского декадентства», разговор, о котором стоило бы когда-нибудь рассказать. Она отрицала то, что до сих пор представляется мне несомненным, и настойчиво повторяла:

— Нет, не было ничего!

Но едва ли была она права.

ошибку тягчайшую. Блок знал, что поэзия должна быть делом, но как никто другой чувствовал и пропасть, отделяющую «должна быть» от «становится», «стала». Он запутался, погиб, но погиб в столкновении с силами, которые навсегда в русской литературе обогородили его облик. Даже стоя на этом берегу, он обращен был к берегу иному и весь озарен был его далеким сиянием.

Один из молодых французских критиков, сын известного романиста, да и сам романист, один из тех преуспевающих литераторов, которые все понимают, за всем следят, все новое принципиально одобряют, обо всем высказывают самые утонченные, самые что ни на есть смелые суждения и мысли, — критик этот недавно писал:

«Мы теперь поняли, что поэзия тоже («тоже»: очевидно, как и наука?) дает нам знание». *

Я прочел и усмехнувшись вспомнил то, что сказал о поэзии Боссюз: *„La plus jolie de toutes les bagatelles“* — «Самый хорошенький из всех пустячков». Конечно, Боссюз не совсем прав, или только в девяти случаях из десяти прав. Человек это был бесспорно гениальный, по мнению Поля Валери даже первый французский писатель, стилистически первый, никем не превзойденный. Однако жил он в одну из тех повторяющихся в истории эпох, когда распространяется чувство, что все окончательно достроено и упорядочено, что остается только в мелочах усовершенствовать достигнутое, а искать больше нечего. Помимо того, истина по его убеждению была давно известна, она была полностью в ка-

* Догадка при пересмотре текста: возможно, что термину «знание» придано здесь значение ограниченно-психологическое, внушенное Фрейдом, Юнгом или новейшими теориями о природе слова. Но опрометчивости его это не уменьшает.

толичестве, и с великой страстью и нетерпимостью истину эту отстаивая, он не мог отнестись к поэзии иначе, чем как к шалости. Вскоре однако мир стал давать трещины, все было мало-помалу подвергнуто пересмотру, — замечательная книга Поля Азара «Кризис европейского сознания 1680—1715», неужели не переведена она на наш язык? — и взгляд на поэзию не мог не измениться.

Но вернусь к утверждению французского критика. Во-первых, как всегда в подобных обстоятельствах, надо бы спросить: кто это «мы»? А во-вторых, неужели можно положить руку на сердце отрицать, что если поэзия и обогащает нас чем-то смутно похожим на знание, то лишь в редкостно-редчайших случаях, раз или два в столетие, посреди бесчисленного количества «пустячков», всех видов, направлений и школ? Да и открывает это знание лишь то, что над нами есть «нечто», без имени, без образа, без ответа. У нас в России может быть единственный такой случай — Лермонтов: темное, изсиня-черное, таинственное небо над его стихами. Метафизичность Лермонтова сильнее, она у него вернее, чем у других наших поэтов, — в особенности у поэтов новых, вероятно потому, что в новые времена возникла почти повальная болтливость. Болтливость, именно болтливость отличает «серебряный» век от «золотого»: один, с трудом и сомнением прорвавшийся, у «золотых» намек «серебряные» с хмельным упоением принялись разжижать и многословно развивать, ничуть не делая однако мнимое знание полнее и отчетливее. Блок, «дитя страшных лет России» питомец окружавшей его среды, по сравнению с Лермонтовым (и, конечно, Пушкиным) болтлив, а о Пастернаке и говорить нечего: недержание догадок, призрачных мыслей, снов, предчувствий, густо приправленное метафорами, очевидно за отсутствием других подпорок. Разумеется, немедленно нашлись и критики, «литературоведы», готовые в каждом случайно подвернувшемся эпитете об-

наружить глубокий смысл и, как когда-то Луначарский, поблескивая роговыми очками, авторитетно и солидно разъясняющие доверчивым аудиториям, в чем этот смысл состоит.

(Пишу и думаю: зачем? Зачем пытаешься ты навести свою аскетическую одурь на тех, кому весело и занятно сочинять стихи похожие на пирожки с кремом? А в особенности на тех, кто там, в России, в молодой своей модернистической резвости, отталкиваясь от внедряемых начальством прописей, ищут «ярких, блестящих образов», «необычайно острых ритмов» и прочей дребедени? Во-первых, все равно не наведешь. Во-вторых, если даже в правоте своей ты уверен, то неужели так же уверен, что истина должна всегда восторжествовать? Что правоте по самой природе ее обеспечено признание? Что рано или поздно жизнь ей подчиняется? Скорей ведь наоборот, и очень многое в истории, от самого великого до самого малого, в этом убеждает. «Пора смириться, сэр»).

Молодые наши модернисты учились главным образом у Пастернака. При всем, что было в Пастернаке шаткого и как бы ветренного (в том смысле, в каком можно бы это сказать об Андрее Белом, но нельзя сказать о Блоке), он был, конечно, подлинным и большим поэтом. В этом не было бы сомнения, не напиши он даже ничего, кроме пяти-шести таких стихотворений, как «Никого не будет в доме . . .» Но у Пастернака почти никогда не бывает преодолена выделка. Нет одухотворяющей небрежности. Словесная ткань чуть-чуть слишком «шикарна», чуть-чуть «воняет литературой», по выражению Тургенева. Изделие из очень хорошего магазина, сработанное очень искусным мастером, но это именно изделие, перед которым, как перед роскошной витриной, изнемогая и потая от вожделения, стоят зеваки-прохожие. Вместе с тем было в Пастернаке что-то «телячье-восторженное», слишком назойливо-лирическое, слишком демонстративно-вдохновенное, вроде как

у Ленского, с его кудрями черными до плеч. Ахматова сказала о нем, что он «одарен каким-то вечным детством», и это постоянно приводится, как дань восхищения. Но комплимент двусмыслен. Ни к одному из других больших русских поэтов отнести его было бы невозможно.

Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без отдаленного ее присутствия. Это, конечно, не значит, что слово «смерть» должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, «морбидны». Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти, — строками, которые настолько поразили и околдовали Шестова, что он без конца их цитировал и на них ссыался. Правда, по Платону смерть — источник и побуждение философии.* Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, о чем поэзия, к чему поэзия? Так, для забавы, для мимолетной улады. Только и всего.

Пушкин, удивительные в своей твердости и мужественности строки его: «И от судеб защиты нет», «И пусть у гробового входа . . .», — будто в подтверждение того, что он помнит, о чем всегда помнить надо, в поучение неисправимым поэтическим весельчакам, готовым счесть его своим союзником. В одной малозамеченной, но умной книге о Пушкине, вышедшей где-то в Белграде или Софии, лет тридцать тому назад, — «Пушкин и музыка» Серапина, — есть определение то-

* Платон, как всем известно, был врагом поэтов и обрек их на изгнание из своего идеального общества. Но не произошло ли тут недоразумение? Не сузил ли он понятие поэзии до условного, хотя и самого распространенного о ней представления? Если бы ему возразили, что он, величайший поэт древности, осуждает самого себя, каков был бы его ответ? Пример недоразумения, — как у нас осуждение Шекспира Толстым.

нальности пушкинской поэзии: «трагический мажор». Как верно! Одно из редких, как будто творческих замечаний о Пушкине, — если не считать, конечно, полезных, кропотливых, интересных, но все-таки мелкоинтересных, второстепенно-интересных изысканий по вопросу о том, какая пушкинская строка по ошибке включена в такое-то стихотворение или с кем Пушкин в Москве, после свидания с царем, пил чай.

Во всем великом, что людьми было написано, смерть видимо или невидимо присутствует. Она — не всегда тема, но она — всегда фон, как и в нашем существовании. То, без чего искуснейшее повествование, размышление или стихотворение неизбежно остаются плоскими. То, что оттеняет каждое слово. Нестерпимая бездарность казенной советской литературы, при явном обилии дарований, коренится именно в том, что смерть в ней забыта. Будто не стоит о ней думать. Бессмертие, товарищи, в коллективе, в общей работе, в возведении нового общественного строя! Ни вызова, ни отчаяния, ни преодоления, ни света, ни мрака впереди, ничего из вечного человеческого достояния. Таблица умножения в отмену будто бы никчемных логарифмов.

Настоящая поэзия возникает над жизнью, все в себя вобрав, все претворив, а не в стороне от жизни, всего избегнув, всего испугавшись. «После» жизни, а не «до» нее.

Краска стыда на лице Фета (как у Ницше: «Краска стыда на лице Платона»). Впрочем, не Фета подлинного, не Афанасия Афанасиевича, которого надо бы еще прочесть и перечесть по новому, а Фета нарицательного, того, который возвеличен был современниками в пик Некрасову, то есть Фета, как олицетворение «поэ-

тичной поэзии», со всеми позднейшими Фофановыми и Бальмонтами, за которых он частично ответственен.

Бальмонт: «Я зову мечтателей, вас я не зову». И не зовите, не трудитесь: все равно не пойдем.

Отчего застрелился Маяковский? Ответы даны были разные и вероятно в каждом из них есть доля правды. Люди редко кончают с собой по одной причине: одна причина может быть и была главной, но сплелась с другими, и все вместе они привели к самоубийству.

Мало вероятно, чтобы мое представление о будто бы «главной» причине смерти Маяковского оказалось правильным. Очень мало надежды на это. Но как хотелось бы, чтобы это было так!

Маяковский мог покончить с собой от сознания, что свой огромный поэтический дар он не то, что растратил, нет, а погубил в корне. Оттого, что будучи по природе избранником, он предпочел стать отступником. Оттого, что заключил союз с тайно-враждебными себе силами. Имею я в виду не большевизм, к которому он поступил на службу: объяснение упадка его творчества, дававшееся Пастернаком. Нет, дело не в этом, вовсе не только в этом. Маяковский с первых своих юношеских стихов принял нелепую, ребячески-наивную позу: громыхать, ругаться, поносить все без разбора. Мир подгнил, мир порочен, корыстен, темен, убог? Это не новость. Поэты как ни в чем не бывало пишут о ручейках и цветочках? Поощрять их не следует. Но есть другая поэзия, есть другой ее образ, и перед ним площадная демагогия ничем не лучше цветочков. Пожалуй даже хуже, потому что претенциознее и заносчивее, оставаясь столь же уныло-банальной. Перевоспитать читателей? Ну, допустим, перевоспитает (что отчасти Маяковскому удалось), допустим, читатели начнут восхищаться посрамлением цветочков, — а что дальше? До-

пустим, будет «сублимировано» хамоватое панибратство с землей и небом, как в «100.000.000» — а что дальше? Нет, не могу понять, как Маяковского, до конца жизни не стошнило от собственных его од, сатир и филиппик.

Пастернак упрекал Маяковского в уподоблении какому-то футуристическому Демьяну Бедному, делая исключение для последней его вещи — «Во весь голос»: она по его мнению гениальна. Да, она могла бы оказаться замечательной. Трагическое, почти некрасовское дыхание, мощная ритмическая раскачка, какой-то набат в интонации: все это могло бы оказаться неотразимо. Но плоский, нищенский текст невыносимо противоречит ритму. Дыхание рвется к небу, а текст упирается в низко нависший потолок и под этой грошевой известкой отлично себя чувствует. На двух-аршинный взлет он ведь всего только и был рассчитан! А слова, то есть дословное содержание текста, в поэзии все-таки имеют значение, поскольку она не «проста, как мычание». Приходится угадывать то, чего в стихотворении нет, с унынием перечитывая то, что в нем есть . . .

Как возвеличена была бы память о Маяковском в русской поэзии, если бы верным оказалось предположение, что он ошибку свою понял и не в силах был с ней примириться! До крайности мало вероятия, что это было так. А все-таки «тьмы низких истин нам дороже . . .»

Блока я знал мало.

Относился я к нему приблизительно так же, как Эдуард Род, забытый, но довольно замечательный швейцарский романист, к Толстому: с уважением, с преклонением почти суеверным. Эдуард Род всю жизнь мечтал о поездке в Ясную Поляну, но желания своего так и не исполнил. «С чем я поеду, что я ему, Тол-

стому, скажу?» — заранее смущался он, откладывая поездку из года в год. Думая о знакомстве с Блоком, я тоже спрашивал себя: что я ему скажу?

Впервые увидел я его в Тенишевском полукруглом зале, на вечере памяти Владимира Соловьева, — десятилетие со дня смерти? — будучи еще гимназистом. «Ночных часов» тогда еще не было, но была волшебная, — по крайней мере казавшаяся мне волшебной, — «Земля в снегу».

О, весна без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта...

Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума. Кому не было шестнадцать или восемнадцать лет в пору блоковского расцвета, тот этого не поймет, и даже пожалуй с недоумением пожмет плечами. Да, от Блока многое уцелело, осталось в русской поэзии навсегда. Но дух эпохи выветрился, обертона ее, особые ее веяния, ее трепет, ее надежды — это теперь неуловимо. А Блок был сердцем и сущностью эпохи, и теперь стихи его уже не те, не таковы, какими когда-то были. Это случается в истории искусства. Счастлив тот, кто был молод, когда появился вагнеровский «Тристан».

Потом были редкие, случайные встречи. Помню, во «Всемирной литературе» Блок, после долгих проб и попыток, отказался переводить Бодлера, заявив, что «окончательно не любит его». Меня это озадачило и смutilo. Помню эпизод с переводами Гейне.

Блок, эти переводы редактировавший, колебался, следует ли наново перевести «Два гренадера». Гумилев вызвался предложить ему на выбор с десятков переводов знаменитой баллады и просил друзей и учеников этим заняться. Мы трудились целую неделю и право некоторые переводы оказались совсем недурны. Но Блок отверг их — и оставил старый перевод Михайлова.

«Горит моя старая рана . . .» — задумчиво, чуть-чуть нараспев произнес он михайловскую строчку, будто в укор всем нам, в том числе и Гумилеву.

У меня было письмо Блока, одно, единственное, увы, оставшееся в России, — письмо в ответ на первый, совсем маленький сборник стихов, который я ему послал. Насколько можно было по письму судить, стихи ему не понравились, да и могло ли быть иначе? За исключением трех или четырех строчек не нравились они и мне самому. Зачем я постарался их издать? Для глупого молодого удовольствия иметь «свой» сборник стихов, — «как у других», о, поручик Берг! — и делать авторские надписи.

Письмо Блока по содержанию своему польстить мне никак не могло. Но сдержанно-отрицательную оценку искупил тон письма, дружественный, вернее — наставительно-дружественный, от старшего к младшему, проникнутый той особой, неподдельной человечностью, которая сквозит в каждом блоковском слове.

Последние строчки письма помню наизусть, хотя и прошло с тех пор почти полвека:

«Раскачнитесь выше на качелях жизни и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь».

Ницца. Андрэ Жид.

Я сидел в кафе и что-то писал. Невдалеке грузный, осанистый старик перелистывал толстую французскую справочную книгу «Ле Боттен», — и не знаю, как, уронил ее на пол, опрокинув и стоявший перед ним стакан. Я поднял голову и узнал Андрэ Жид. Знаком я с ним не был. Но в своем «Дневнике» он одобрительно отзывался о коротком докладе, прочитанном мною за несколько лет до того, — и я решил к нему подойти, тем

более, что ему повидимому трудно было поднять упавшую книгу.

— Мсье Андрэ Жид?

— Да, Жид... а что дальше? (непереводимое французское „et après?“)

Вид был хмурый, голос сердитый, почти вызывающий. Позднее он объяснил мне, что к нему довольно часто подходят люди, знающие его лишь с виду, и что он неизменно их «отшивает».

Я назвал себя, поблагодарил за отзыв, он протянул руку, сделался очень любезен. Мы условились встретиться в том же кафе на следующий день.

Давно уже мне хотелось задать Жиду несколько вопросов, — частью о русской литературе, главным образом о Достоевском, частью о его собственных книгах. Он представлялся мне одним из редких во французской литературе людей, которые все понимают, даже и то, что должно было бы им быть чуждо, а от Шестова я слышал, что это едва ли не самый умный человек, каково он вообще встречал.

Разговор с Андрэ Жидом с глазу на глаз я, можно сказать, предвкушал. Но настоящего разговора не вышло. Началось с Достоевского. Мне показалось, что Жид связывает с ним свою литературную репутацию, именно на него сделав ставку, и воспринимает малейшее критическое замечание о «Карамазовых» или «Бесах», как личную обиду. Предположение: не догадывался ли он тогда, не чувствовал ли, через двадцать с лишним лет после знаменитых своих лекций о Достоевском в театре «Вье Коломбье», что кое в чем все-таки ошибся, кое-что просмотрел, и как в таких случаях behaves, не старался ли сам себя переубедить? Ничего невозможного в этом нет.

После Достоевского речь зашла о Маяковском, об Эренбурге, затем довольно неожиданно о Мережковском, которого Жид не любил и упорно называл Мерейковским, очевидно считая, что французское «жи» в

этом имени соответствует русскому «и краткому». Потом он заговорил о советской России, о каких-то катакомбах, которые должны там возникнуть, о бессмертном русском духе, который в эти катакомбы уйдет до лучших времен... Было это довольно выпендренно, слегка театрально.

Я слушал его и мне хотелось спросить:

— Как может случиться, что вы, Андрэ Жид, первый писатель первой в мире литературы, говорите мне, двадцать третьему или сорок девятому писателю литературы, которая во всяком случае на первое место в мире права не имеет, как может случиться и чем объяснить, что вы говорите мне вещи, заставляющие меня с трудом сдерживать улыбку?

Конечно, я этого не спросил, да в такой форме и нельзя было бы спросить это. Личные мои чувства значения не имеют. Но вопрос сам по себе интересен и даже важен, и так или иначе в беседе с Жидом поднять его можно было бы.

Без постылого российского зазнайства, без патристического самоупоения, ответ, думаю, свелся бы к тому, что если не во всем, нет, не во всем, то в какой-то одной плоскости, в смысле чутья ко всякой «педали», к чистоте звука, — и в конце концов, значит, к правде и лжи, — русская литература действительно первая в мире, и тот, кто с ней связан, частицей этого дара наделен.

Во всяком случае она *была* первой в мире. Не уверен, что можно было бы без натяжки сказать «была и осталась до сих пор».

В коммунизме загадочно то, что он до сих пор для тысяч и тысяч людей сохраняет свою притягательную силу. Даже после всех его российских метаморфоз.

А между тем многие, многие из этих людей твердо знают, что если бы в любой из теперешних буржуазно-

либеральных стран произошел переворот, то житья им в ближайшем будущем, на их веку, стало бы гораздо хуже, чем жилось прежде, — как бы мало прежняя жизнь их ни удовлетворяла, сколько бы ни накопилось в их сердцах обиды, зависти и мстительности. „Les lendemains qui chantent“, по слащаво-картинному выражению Вайяна-Кутюрье, то есть царство справедливости и равенства, может быть когда-нибудь и наступит. Если и в высшей степени сомнительно, что это царство принесет человечеству счастье, то все же мечта о нем понятна. Исторически мечта о нем обоснована, счет предъявлен за долгое, долгое прошлое, так или иначе платить по нему приходится... Но в ближайшем-то будущем, после переворота, возникнет гнет, насилие, жизнь без отдушин, полицейщина, ограничения, все хорошо знакомое, все повидимому неизбежное. Одно-два-три поколения окажутся принесены в жертву этому «певучему будущему», за исключением юркого меньшинства, во время прильнувшего к новым властителям. Остальным будет наверно хуже. Каждому отдельному человеку будет хуже, чем было прежде. И все-таки эти остальные, эти отдельные люди сочувствуют, помогают, стараются, стремятся, борются, будто жертвуя собой для проблематического обещанного рая. Что это, действительно жертва, внушаемая каким-то действительно существующим, многомиллионным, темным «я», которое пренебрегает единичными лишениями и страданиями? Или это просто слепота, наивность, иллюзия?

«Лес рубят — щепки летят»: самая бесчеловечная из всех пословиц.

У Бердяева, в его кламарском доме. Обсуждение книги Кестлера «Тьма в полдень». В прениях кто-то заметил, что любопытно было бы, — будь это возможно!

— пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.

Бердяев расхохотался.

— Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран. Это ведь бывает, я и других таких людей знал. Ленин, тот понял бы все с полуслова, но не стал бы слушать, а выругался бы и послал всех нас... сами знаете, куда.

По утверждению Бердяева основным побуждением Ленина была ненависть к бывшему русскому политическому строю и стремление к его разрушению. Что дальше, к чему все в конце концов придет? — об этом Ленин будто бы не думал, хотя свое безразличие к будущему скрывал. Действительно ли коммунизм даст людям удовлетворение и благополучие? Ищет ли человек равенства, хочет ли он его? Не был ли прав Герцен, предвещавший в далеком будущем неизбежность новой, уже индивидуалистической революции? Ленина, как утверждал Бердяев, это нисколько не интересовало.

— Ленин оттого и добился своей цели, — говорил он, — что признавал только цель ближайшую, а рассуждения к ней ведущие, или тем более, задерживающие ее осуществление, презирал и отбрасывал, как занятие пустое и вредное.

Поразивший меня чей-то рассказ у Мережковских за воскресным чайным столом.

Захолустный городишко в Псковской губернии. Первые революционные годы. По стенам и заборам афиши: «Антирелигиозный диспут. Есть ли Бог?». Явление в те времена обычное.

Народу собралось много. Остатки местной интеллигенции, лавочники, бородачи-мужики, две какие-то монашенки, пугливо посматривающие по сторонам, молодежь. Выступает «оратор из центра».

— Поняли, товарищи? Современная наука неопровержимо доказала, что никакого Бога нет и никогда не было. Так называемый Бог определенно является выдумкой представителей капитала с целью эксплуатации рабочего класса и содержания его в рабстве. Коммунистическая партия во главе с товарищем Лениным борется с предрассудками и нет сомнения, что вскоре окончательно их ликвидирует. Невежеству и суеверию пора положить конец...

И так далее... Доклад окончен. Председатель предлагает проголосовать заранее составленную резолюцию с единогласным упразднением Бога.

— Может быть кто-нибудь просит слова?

Руку поднимает старик, одетый, как все, но с подозрительно длинными волосами, уходящими под воротник. Председатель иронически приглядывается к нему.

— Поднимитесь, гражданин, на эстраду... В вашем распоряжении три минуты, чтобы ознакомить собрание с вашим мнением по вышеизложенному вопросу.

На эстраде старик мнетя, долго молчит, но наконец громко, на весь зал, восклицает:

— Христос Воскресе!

Поднимается шум. На эстраде, где сидят лица начальственные, суматоха, растерянность. Кричат, перебивают друг друга, кто-то предлагает немедленно закрыть собрание, другой требует нового голосования... Но вот встает заведующий отделом Народного образования, солдат-коммунист, до тех пор молчавший, недавно вернувшийся с фронта. В ожидании пламенной и гневной отповеди зазнавшемуся пособнику буржуазии воцаряется тишина.

Солдат медленно, чуть пошатываясь, подходит к старику, кланяется ему и произносит всего три слова.

— Воистину Воскресе, батюшка!

Что было дальше, не знаю. Несомненно, коммунист этот был со своего поста смещен, вероятно и арестован. Но нельзя ему не позавидовать. В эти секунды, собрав все свое мужество, предвидя последствия своего поступка, он должен был испытать огромное, редчайшее счастье, то, за которое заплатить стоит чем угодно. Львы, римские арены: здесь, пусть и в потускневшем виде, было в сущности то же самое.

Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он по моему был слабый, а мыслитель почти никакой. Но в нем было «что-то», чего не было ни в ком другом. Какое-то дребезжание, далекий, потусторонний отзвук, неизвестно чего. Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему своему составу таким же, как все мы. А он — нет.

С ним наедине всегда бывало «не по себе», и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденным-дикивинным оттенком мыслей и чувств, весь будто выхолощенный, немножко «марсианин». Было при этом в нем что-то мелко-житейское, расчетливое, но было и что-то нездешнее. И была особая одаренность, трудно поддающаяся определению.

Оратора такого я никогда не слышал и, конечно, никогда не услышу. «Арфа серафима». У Блока в дневнике есть запись о том, что после какой-то речи Мережковского ему хотелось поцеловать его руку — «потому, что он царь над всеми Адриановыми». У меня не раз возникало то же чувство, и над всеми нашими «нео-Адриановыми» он царем бывал всегда.

И стихи он читал так, как никто никогда, и до сих пор у меня в памяти звучит его голос, будто действи-

тельно что-то свое, ему одному понятное, он уловил в волшебных лермонтовских строках:

И долго на свете томилась она . . .

Какой-то частицей своего существа он должно быть в самом деле «томился на свете».

А в книгах нет почти ничего.

Перечитываю — в который раз! — Достоевского.

И в который раз с удивлением вспоминаю, что находятся люди, требующие единого твердого взгляда на великие литературные явления: люди не допускающие противоречия в суждениях, подхода с разных сторон, спора с самим собой, наконец — беседы с самим собой . . .

Перечитываю Достоевского. Да, есть какая-то шаткость в замыслах, многие из которых правильнее было бы назвать домыслами. Нередко есть фальшь, как во всем, что не найдено, а выдуманно. «Высшая реальность» Достоевского порой перестает быть реальностью вовсе, в любом значении слова, и как бы ни захлебывались от метафизического восторга современные властители и вице-властители дум, от нее едва ли многое уцелеет. Мучительные усилия договориться до чего-то еще неслышанного, произвольные догадки, и удар головой о крышку, над всеми нами плотно завинченную. Да, это так.

Но все-таки Достоевский — писатель единственный, заменить, «перечеркнуть» которого никаким другим писателем в мире нельзя. Однако не в плоскости «проблем».

О человеке, которому «пойти некуда», обо всем, до чего истерзанное человеческое сердце может дочувствоваться, о стыде, отчаянии, боли, возмущении, раскаянии, об одиночестве не писал так никто, и никогда никто не напишет. Перечитываю главу из «Подрост-

ка», ту, где мать с пряниками и двугривенным в узелочке приходит во французский пансион к своему болвану-сыну: нет, это все-таки страницы единственные, — и да простит милосердный Бог Бунина и Алданова за все, что оба они о Достоевском наговорили, да простит Набокова за «нашего отечественного Пинкертона с мистическим гарниром» (цитирую из «Отчаяния» по памяти, но кажется верно), и всех вообще, кто в этом страшном свидетельстве о человеке и человеческой участи в мире ничего не уловил и не понял.

Было это в Париже, ночью, незадолго до войны.

В дверях монпарнасского кафе «Дом» стоял, держась за косяк, поэт Верге или Вернье: не помню точно его имени, знаю только, что друзья считали его чрезвычайно талантливым, хотя и погибшим из-за беспутного образа жизни. Хозяин ругательски ругал его и выталкивал, а он упирался, сердился, требовал, чтобы его впустили обратно. Наконец его вышвырнули на улицу. Случайно я вышел вслед за ним.

Он стоял под дождем, без шляпы, в изодранном пальто и опустив голову, еле слышно, совсем слабым голосом повторял:

— О, Dostoievsky, о, Dostoievsky! — взывая к Федору Михайловичу, как к последнему оставшемуся у него защитнику, покровителю всех униженных и оскорбленных.

На ту же тему: очень хорошо сказал о Достоевском английский поэт Оден (Auden) в статье, написанной к его юбилею, несколько лет тому назад.

«Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, не достойно называться человеческим».

Думая о том, что сейчас происходит в мире, о том, что сделало двадцатое столетие с мечтами и надеждами прошлого века, многие из нас, вероятно с особой горечью вспоминают все написанное о «народо-богоносце».

Политические предсказания и догадки о судьбах человечества — дело исключительно сложное и рискованное: за редчайшими исключениями, — вроде лейбнищевского описания грядущей французской революции, — все они оказываются плодами слепой фантазии. Очевидно, историческая закономерность не так сильна, как принято считать, или во всяком случае основана она не только на том, что поддается учету и анализу, но и на том, что остается неуловимым.

С «народом-богоносцем» нам очень не повезло. Как известно, некоторые из самых глубоких русских умов, — Тютчев, Достоевский и другие, — утверждали, что Россия призвана спасти мир: Запад будто бы подпал под власть дьявола, Россия служит Христу и должна, значит, озарить своим светом заблудившуюся, обезумевшую и грешную часть человечества. Это очень русская мысль, проходящая через почти все русский писания, окрашенные в славянофильские тона. В некоторых своих разветвлениях, — у Данилевского, например, — она почти доходит до нетерпения в ожидании неотвратимой будущей финальной схватки, или точнее войны, этого «единственного достойного способа решения мировых вопросов».

Сейчас Запад с Россией как будто поменялись ролями, и об этом одинаково часто приходится и читать, и слышать: в наше время Запад будто бы представляет христианство и христианскую культуру, Россия представляет сатану и все сатанинское.

Долю истины, долю иллюзии в этих современных суждениях каждый определит по своему, — на то ведь это и современность! Но вот, что однако ни сомнению,

ни спорам не подлежит: со всем строем прежней русской мысли, поскольку она нашла свое выражение у Достоевского или у Тютчева, соображения насчет обмена ролей не имеют ничего общего.

Тютчев, как свидетель, в данном случае ценнее и важнее, чем Достоевский, хотя бы потому, что последовательнее его. Знаменитая его статья о «России и революции» есть своего рода манифест или катехизис христианского призвания России, как отчасти и вторая статья, о «Римском вопросе», с ее величественным и картинным заключением: русский царь, благоговейно павший ниц в Соборе Св. Петра, а вокруг него, символически, вся Россия, тоже на коленях.

Тютчев несомненно признал бы, что в наше время Россия с колен встала и христианское свое служение отвергла. Но признал ли бы он, что на колени опустился Запад? Нет ни малейшего основания утверждать это.

Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский, — менее блестящий в мыслях, конечно, но пожалуй более глубокий в чувствах, с мыслями связанных, — если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря, или на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой полу-сатанинский — на Западе.

По Тютчеву, по Достоевскому, по славянофилам, в неумолимом следственном согласии со всей этой линией русской мысли, сатана уже победил, и сейчас происходит нечто вроде «домашнего спора» между подвластными ему силами, без того, чтобы спор этот мог иметь решающее значение. Решающие события уже произошли, а что произошли они иначе, по другому, чем хотелось бы и чем было предсказано, дела не изменяет.

Исчезла христианская, царская, православная Россия. Новая Россия неожиданно обошла Запад слева и заставила его для борьбы с ней, а то и просто для разговора с ней, сделать крутой поворот в сто восемьдесят градусов. Но при этом Запад остался таким же, как был. Поворот изменил его позу, то положение, в котором он стоял, но не изменил его сущности.

Все, что отвращало Тютчева, осталось или даже усилилось. Вспомним: народовластие, основной демократический принцип — для Тютчева принцип безбожный, ибо это «власть человеческого я, бесконечно умноженного в числе». А человеческое «я», предоставленное себе, в корне враждебно христианству, и французская революция была не чем иным, как «апофезом этого я». Кого Запад признал своими духовными вождями? Папу Григория VII и Лютера. Никогда Россия не согласится счесть Лютера за подлинного христианина, да и католичество осталось ей чуждо именно потому, что оно Лютера в себе несло, было им беременно, поскольку с самого начала возвеличило разум и на нем основало свое здание. Лютер — плоть от плоти католичества и был в нем логически-неизбежен (это, впрочем, мысль не Тютчева, а Ивана Киреевского, и мысль очень верная).

Об этом толковали русские мыслители сто лет тому назад, а с тех пор ничто не изменилось. Смирение, столь им дорогое, никого в западной культуре не соблазнило. «Эти бедные селенья, эта скудная природа» исчезли в России за всякими электрификациями, и Днепростроями, и если то, о чем сказано в последней строке тютчевского стихотворения — навеки незабываемого, чудесно-одушевленного, будто насквозь светящегося! — если об этом глупо и кощунственно было бы говорить теперь в применении к нашей земле, то не менее глупо и кощунственно было бы и делать географические перестановки.

Для этих видений нет больше места в мире. По Тютчеву и по всем его единомышленникам игра проиграна, темные силы восторжествовали, а если между собой они не ладят, то от исчадий ада и ждать нельзя мирного сожительства.

Не думаю, чтоб эта философия — в наши дни, по ходу истории, оказавшаяся столь скорбной, — пришлась кому-нибудь по сердцу. Не думаю, чтобы кто-нибудь попытался ее гальванизировать. Мысль принаравливается к обстановке, ищет в ней опоры, пищи и выхода . . . Но нельзя при этом искать какой-либо поддержки в великом русском религиозно-политическом вдохновении прошлого века. И нельзя на него ссылаться, говоря об изменении ролей.

Более полутора столетия тому назад Карамзин, под непосредственным впечатлением французской революции, задумался над вопросом, который стоит перед нами и до сих пор: как могло случиться, что идеи и принципы несомненно благотворные привели к невиданным в истории ужасам? в чем дело? случайно ли это?

«Век просвещения, я не узнаю тебя! В крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя! Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плоды наук и мудрости? Сердца ожесточаются ужасными происшествиями . . . Я закрываю лицо свое . . .»

Много позднее Герцен, — у которого не было оснований относиться к Карамзину с особой симпатией, — вспомнил эти слова и признал, что они «бьют в самую точку». Еще позднее, в 1904 году, Лев Толстой записал в дневнике свою мысль, если не совсем однородную, то все же задевающую те же самые темы:

«Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием».

Вероятно, Карамзин согласился бы с Толстым. Но за ним остается то преимущество, что он в отмеченных и Толстым фактах увидел загадку, и в явно взволнованных словах передал ее на рассмотрение и возможное разрешение людям следующих столетий.

В самом деле, если и верно, что «насилие превратило истину в ложь», то надо бы спросить себя: откуда возникает насилие? почему? Есть ли надежда, что в будущем торжество свободы и равенства обойдется без насилия, — подобно тому, как в России, в 1917 году, на несколько дней почти все поверили, что революция действительно останется «бескровной»?

Карамзинская загадка разрешается порой до крайности элементарно, так сказать по-обывательски. Объяснение должно будто бы свестись к тому, что властью завладели негодяи, жестокие, беспринципные, ненасытно-честолюбивые люди, которые ради ее удержания согласны на все решительно. Кое-что в этом наблюдении может быть и верно, но беда-то в том, что это не столько объяснение, сколько именно наблюдение. Ничуть не идеализируя и не драпируя под добродетельных овечек ни Робеспьера, ни Ленина, надо бы все-таки взглянуть в сущность вопроса, на которую поверхностные психологические замечания ответа не дают. Сделаем для ясности все необходимые уступки: признаем, что и в идеях, робеспьеровских или ленинских, «плоды наук и мудрости», оказались искажены, что в их личной окраске это — идеи фанатические, узкие, пусть даже изуверские... Но вопрос и после этого остается вопросом, во всей своей неумолимой, поразившей Герцена простоте. Революции совершаются во имя чего-то несомненно хорошего, правильного, нужного и справедливого. Почему вырождаются они во что-то злое и отталкивающее? Каким образом из добра воз-

никает зло? Неужели действительно потому, что во главе доброго дела становятся злые люди? И если даже это так, чего же эти злые люди в конце концов хотят?

Как во всяком сложном историческом явлении, причины тут, конечно, скрещиваются и сплетаются. Нет единой, решающей причины, их множество, и в каждом отдельном случае причины общие, постоянные, скрыты другими, связанными с данной эпохой и ее деятелями. Но кое-что, общее и роковое, выделить можно.

Народные волнения и перевороты сколько-нибудь длительные и глубокие, движутся и одушевляются двумя идеями: идеей свободы и идеей справедливости, или иначе — равенства. Но понятия эти вовсе не дополняют одно другое, как мы часто по инерции считаем, а друг друга исключают. Никакой гармонии между ними достичь нельзя, до тех пор, по крайней мере, пока человек останется таким, каков он сейчас, — и оттого-то третий член великого революционного символа веры, — «братство», — в наше время стыдливо опускается и заменяется другим, менее лицемерным: не «брат», а «товарищ», или всего только «гражданин». Если бы достижимо было братство, все было бы сглажено, все противоречия сами собой разрешились бы, и свобода с равенством, чисто по карамзински, в слезах обнялись бы и установили бы между собой вечный мир. Но братства нет, а равенства человек не хочет.

В этом, вероятно, самая сущность, само острие вопроса: равенства человек не хочет или во всяком случае им не удовлетворяется. Он мечтает о нем, он требует его, пока от недостатка социальной справедливости страдает, и пока верит, что всеобщее правильное распространение всякого рода благ должно положение его улучшить. Если представить себе горизонтальную черту, символизирующую уравнение всех людей в обладании земными сокровищами, человек стремится к этой черте пока находится под ней, ниже ее. Достигнув ее,

он рвется вверх, не говоря уже о том, что находящиеся наверху ни малейшего желания спуститься не проявляют, разве что в самых исключительных случаях, — примером которых должны бы остаться в истории наши декабристы, доказавшие, что не всегда все-таки «человек есть то, что он ест».

Русская революция вначале сделала ударение на свободе, и в лице первых ее руководителей была именно идеей свободы одушевлена. О горизонтальной черте равенства мало кто думал, а если и думал, то мысленно допускал ее лишь там, где она могла бы быть проведена безболезненно: равенство избирательных прав, например. Все февральское, какими бы подземными толчками подготовлено оно ни было, предстало под ярлыком свободы, и потому мало кого испугало, а наоборот, почти всех обрадовало, — кто же в самом деле свободы не хочет? Но октябрь, на словах от свободы не отрекшийся, совершился во имя равенства, и никакие захваты власти, ни даже успехи в гражданской войне не были бы возможны, если бы мечта о равенстве, в самых примитивных ее формах, не владела десятками миллионом людей, не подозревавших, чем обернется она в будущем. Октябрьский переворот мог бы, конечно, кончиться неудачей, по причинам случайным, то есть местным, временным, психологическим, военным, каким угодно другим. Но по общему, основному его устремлению, — выразившемуся хотя бы в формуле «грабь награбленное», — торжество было ему обеспечено, тем более, что свободе он, казалось, угрожал лишь «постольку-поскольку», и не церемонясь в отношении бывших баловней жизни, обещал всем другим, то есть огромному большинству, довольство и покой.

Вероятно, и многие из тех, кто движением тогда руководили, — или думали, что руководят, — убеждены были в возможности гармонического сочетания равенства со свободой. Не Ленин, конечно, человек дальновидный, отбросивший всякие иллюзии, но, скажем,

Каменев или краснобай — Луначарский, искренне, кажется, поверивший, что ворота в рай распахнуты и, после первых передраг, ему, как «нарком», предстоит беспрепятственно сеять разумное и вечное. Однако вскоре истина стала очевидна, ошеломив одних, заставив других изощряться в «революционной диалектике», то есть в более или менее бесстыдной болтовне. Истина обнаружилась: от свободы не осталось ничего, ни для кого, и вовсе не потому, чтобы октябрь сбился с пути, изменил себе, нет, наоборот. потому, что он изменил бы себе, если бы свободы не уничтожил.

Конечно, это лишь схема того, что произошло, а жизнь мало бывает похожа на схему. Еще раз: бесчисленные, почти неуловимые мотивы должны были сплестись, прежде чем образовать реальное историческое целое. Но схема тоже имела значение, и вероятно, не меньшее, нежели что-либо иное... Движение по линии свободы, то есть, со свободой в качестве конечной цели, сопротивления не встречает. Движение по линии равенства наталкивается на бесчисленные «не хочу», не только сверху, но и снизу, задолго до всех проблематических будущих свершений. Отталкивает и ужасает новый, неожиданный тон власти, с первыми угрозами, с явственно ощущаемым впереди переходом от простого понуждения к чему-то неизмеримо более бесчеловечному и беспощадному.

Свободу можно, так сказать, «декларировать», без дальнейшей опеки над ней. Равенство можно было бы только навязать силой, и стремление к нему неизбежно ведет к контролю над поступками, действиями, а затем и над мыслями каждого отдельного человека. Каждый отдельный человек, — как правило, с несомненными из него исключениями, — заботится прежде всего о себе. Даже веря в достижимость свободы и благополучия для класса, как живого целого, он не согласен ради этого целого жертвовать собой. Класс, общество по сравнению с ним самим — понятия почти ир-

реальные, условно-живые, книжно-живые, как и пресловутое «классовое самосознание». Нет класса, есть Иван Иванович, который хочет, чтобы жена его ходила в шелковом платье, недоступном для жены Петра Петровича, и что особенно удивительно, — от этого шелкового платья Ивану Ивановичу меньше радости, если жены всех Петров Петровичей в состоянии завести себе такие же! Именно так ежедневные, едва заметные многомиллионные маленькие взрывы сливаются в глухое, стихийное протводействие теоретически праведному, и по Карамзину «святому», стремлению. Безотчетно или сознательно, человека тянет обратно, в первобытный лес, и никаких приглашений выйти оттуда он к себе лично не относит. (А стремление в самом деле «свято», хоть и находится в противоречии со всем тем, что можно бы назвать поэзией жизни, прелестью жизни, восхитительной пестротой жизни, — и это-то и заставляет людей константино-леонтьевского типа, эстетически чутких, но этически-глухих, бледнеть от ярости и презрения при одном упоминании о нем).

Неизбежно, само собой, стремление теряет энергию и слабеет. В непрестанных столкновениях искажается самое вдохновение его. Начинается игра словами вроде того, что «равенство» не есть «уравниловка», хотя при зыбкости всех этих понятий и не видно, как могла бы безупречная, окончательная социальная справедливость без «уравниловки» обойтись.

Полицейское рвение, поощряемое сверху, расцветает пышным цветом. Волчьи инстинкты вырываются наружу, — и в результате получается та страшная карикатура на общее счастье, на рабочий и демократический рай, которую нам и нашей эпохе впервые дано видеть во всей ее полноте.

У Белинского в письме к Боткину есть такое признание:

— Я понял кровавую любовь Марата к свободе...

Здесь два не совсем правильно употребленных слова: во-первых, едва ли в применении к Марату, можно говорить о любви; затем, если и была у Марата любовь, то не к свободе, а к другому облику, к другим стремлениям и другим мечтам революции.

Белинский в своем «неистовстве» всегда захлебывался словами, и требовать от него стилистической точности нельзя, особенно в письме. Но ошибка в выражениях объясняется у него еще и тем, что между понятиями «революции» и «свободы» связь долго казалась неразрывной и естественной. Одно без другого не мыслилось. Белинскому повидимому и в голову не приходило, что революция может свободе быть враждебна.

Вероятно, если бы он знал, что пришлось узнать нам, рука его дрогнула бы, «понял» не звучало бы у него, как «оправдал», «одобрил», и душевного расположения к Марату оказалось бы у него меньше.

В дополнение ко всему тому основному, необходимому и подчас пронизательному, что было о Тургеневе написано, дождемся ли мы когда-нибудь иной статьи о нем, о том, что было в нем самого «тургеневского»?

Определить тему было бы нелегко, — потому, что сущность ее была самым автором тщательно скрыта под бесчисленными наслоениями. Некоторые из них исчезли, и о «певце русской девушки» или «поэте родной деревни» никто теперь не говорит. Но яснее от этого Тургенев не стал.

Забудем Рудина и скучнейшего Хоря с Калинычем, вместе с их общественными заслугами, забудем даже

Базарова, как бы ни было жаль с ним расстаться: уж очень он Тургеневу удался, да если и не в нем самом, то в некоторых особенностях рассказа о нем кое-что сквозит очень существенное... Забудем вообще все то боборыкинское, к чему Тургенев себя принудил: типы и образы сменяющих друг друга поколений, добросовестно уловленные и образцово обрисованные, со всеми их бесконечными разговорами. Тургенев оттого и остался холодным писателем, что скучновато ему было обо всем этом писать, и писал он почти что нехотя, сам того вероятно не сознавая.

Был он человек слабый и в себе неуверенный, как будто даже чем-то испуганный. Была вероятно оттого в его писаниях какая-то постоянная фальшь, не громоподобная, взвизывающая к небу, как порой у Гоголя, а вкрадчивая, уклончивая, застенчивая, с усмешечками, вроде, например, упоминания о петухе незадолго до смерти Базарова, петухе, странную неуместность которого так верно и остро уловил покойный Бицилли. Да и не только в иронии тургеневской была тончайшая фальшь. Вспомним «Живые мощи», один из тех рассказов, который больше всего вызвал восхищения, как вещь несомненно классическая. Прекрасный рассказ, и все в нем кажется прекрасно, пока вдруг не смутитесь себя вопросом: а мог ли бы такой рассказ появиться за подписью Толстого? И сразу «Живые мощи» становятся смешны, сразу обнаруживается их сусальная благодетность, их слащаво-лубочная и декоративная нарочитость.

Но это, — эту фальшиво-дребезжащую струнку, — Тургенев вероятно в себе чувствовал. Как чувствовал вероятно и «прохладность» свою, прохладную, беспредметно-беспричинную свою грусть. Ну, конечно, он навсегда оттеснен на второй план своими двумя «сверстниками-гигантами», — о чем же тут спорить? Но слабый, легкий и тихий голос его никем все-таки не заглушен и до сих пор отчетливо слышен. Особенно если

иначе, не так, как прежде, не с теми требованиями, что прежде, к нему прислушаться.

Тургенев только к концу жизни начал становиться самим собой, и только по его поздним вещам можно догадаться, чем должен был бы он стать. Ему повидимому тягостно было жить. Все везде ему было чуждо. Одиночество с каждым годом усиливалось. Романы куда-то проваливались, в небытие, в неизбежное забвение, и с его умом, мог ли он этого не сознавать, какой бы ни курили ему фимиам? Все проваливалось, он ни во что не верил, а главное — ничего не пытался изменить. Тут, в этой духовной скромности Тургенева, в отсутствии всякой самонадеянности, и уж тем более, всякой «гордыни», есть что-то неожиданно-христианское. «Смирись, гордый человек!» — вопиял, весь дрожа и задыхаясь от гордости, Достоевский, а Тургенев до него и без него это почти исполнил. Иногда, вдоволь намучившись над Толстым или Достоевским, спрашиваешь себя: а что, не ближе ли к тому, о чем с такой иступленной страстью и силой они кричали, не пробрались ли какой-то окольной тропинкой к недоступному для них состоянию, именно как «малые сии», которым все обещано, а не как самозванные пророки, которым не обещано ничего, словом не лучшие ли христиане — самые тихие русские писатели, Тургенев и Чехов? Особо Чехов. Но и Тургенев тоже, каким бы эллином он себя не считал.

В «Стихотворениях в прозе» еще много мишуры. «Как хороши, как свежи были розы» и все в этом роде, — Бог знает что, если наконец сказать правду, сплошная, нестерпимая патока! Но тут же рядом, удивительные страницы, как, например, рассказ о бабе, которая похоронив сына, молча хлебала щи. Будто проблески — вот, вот, что надо было делать, вот как надо было писать! Если ты действительно грек, как о тебе говорят, в этих щах больше Греции, чем во всех роскошно уводящих букетах... Но поздно. Париж, старость, бес-

цельная и бессмысленная слава, огромная тень Толстого вдали, как упрек и угроза, и вероятно, тревожные, разъедающие душу воспоминания о тщетных попытках самого себя уверить, что вовсе не так Толстой и хорош, что «Война и мир» — дрянь, что «Анна Каренина» еще хуже, а потом, уже совсем перед смертью, знаменитое письмо к нему, образец истинного и естественного человеческого благородства. «Песнь торжествующей любви», тоже с чрезмерным обилием всяких «роз», но уже бесконечно далекая от зарисовки общественных типов и с первым вторжением чертовщины, столь плохо с ними вяжущейся. Мучительная жалость к стареющей Полине и остатки любви. «Моя бедная подруга своим совершенно разбитым голосом поет у себя наверху...» А ей, этой бедной подруге, даже не присылают уже и билетов в Оперу, где она когда-то блистала. Совсем забыли ее, как забудут и его. Как забудут всех. Что она поет? «Нет, только тот, кто знал...», самую магическую из всех мелодий Чайковского, ту, которую поет и Клара Милич. «Ниэт, только тот, кто зналь...» Все проваливается, но Клара Милич придет с того света говорить о любви, обманывать, утешать, убаюкивать. Никакого нет бессмертия, и Базаров был прав, «лопух на могиле», но пусть это всего только темное волшебство, а Клара Милич здесь, и говорит она о любви. А они? О чем они все шумят? Что им надо? Даже Толстой, ведь тоже немолодой уже человек, какими пустяками он занят! Рассказывает «в чем его вера», учит чему-то. Не все ли равно, по Толстому ли верить, или так, как верит какой-нибудь сельский попик, только и знающий что бормотать «Сусе, Сусе, Христе»? Раз ничего нет? Лучше остаться с попиком, проще, скромнее. Да, есть искусство, и о Пушкине, на московском празднестве он воскликнет — именно «воскликнет», а не скажет: — «сияй же, благородный, медный лик...» — с такой трескучей риторикой, что хочется еще и теперь в стыде и растерянности закрыть лицо руками.

Ему самому вероятно было стыдно. Но оттого и «сияй, медный лик», что нет о таких вещах настоящих слов и невозможно найти их. «Боязнь фразы есть тоже фраза». А люди этого не понимают и требуют от старика болтовни на юбилеях и чествованиях. Да, есть искусство, суррогат бессмертия. Надо было бы иначе искусству служить, писать о Кларе Милич, то есть не о ней именно, а в этом плане, без параллелей между эпохами и поколениями. Но поздно, «кладу перо», как издевался ослепший от ненависти Достоевский, «мерси, мерси», страшно, смерть идет, никто не может помочь, полное одиночество и холод вокруг, как холоден «зеленый зимний край неба в окне», о котором упоминается в одном из его последних писем. И что обещает он, этот край неба, о чем говорит он, кроме игры бессмысленных сил и наших миражей? Надо по мере возможности жить просто, жить благожелательно к другим, жить как живут другие, не в том смысле как понимал это поручик Берг, а в смысле круговой поруки перед общей для всех участью, пожалуй даже по-базаровски резать лягушек во имя прогресса и цивилизации, и конечно молчать о том, что за «зеленым краем неба» решительно ничего нет и что даже Клара Милич со всеми потусторонними видениями — жалкий самообман, ампула морфия, помогающая сносить боль до той минуты, когда ни боли не остается, ничего . . .

А. говорил мне:

1) Да, нечего от себя скрывать истину: конечно, христианство не удалось. Исторический размах был огромный, но он давно уже суживается, и теперь вопрос только в том, удержится ли хоть что-нибудь . . .

Верующие скажут, что скрыта здесь великая тайна и великая надежда! Может быть! Но и верующим вероятно случалось ночью, в часы бессонницы, когда

все такое в уме перебираешь, вдруг вздрогнуть, чуть ли не вскочить в недоумении: как же так, если действительно это всемогущий Бог послал двадцать столетий тому назад своего Сына на землю, если это правда, неужели могло бы все ограничиться частичным и в сущности скромным успехом? За двадцать столетий неужели не произошло бы торжества несомненного и окончательного? Тайна! — невозмутимо ответят верующие. Но рассудок даже и при самом страстном стремлении к вере сохраняет свои права и на согласие „*quia absurdum*“ идти колеблется. Именно для рассудка, для разума христианство не удалось, то есть не удалось как целое, с его будто бы всемирным и всечеловеческим предназначением. А что в отдельных душах оно еще живо, да вероятно и всегда будет жить, кто же это отрицает?

Но вот что мне хотелось бы добавить: даже то частичное, даже то ограниченное, чего христианство достигло, есть ошеломляющее чудо истории. И тут действительно есть какая-то тайна. Потому что невозможно ведь ничего себе представить, что было бы в более очевидном разладе с природой, со всеми ее естественными силами, всеми ее потребностями, всеми ее законами.

Об этом верно... но, поймите, я не соглашаюсь с ним, я только нахожу, что по своему он был прав!.. об этом верно сказал Цельсий: для них зло есть добро, а добро есть зло. Для них, то есть для первых христиан, — и это же вместе с ним ощутил весь Рим, вероятно не допускавший на первых порах и мысли о возможной победе какой-то темной и безумной ереси.

Было синее небо: христианство сказало — нет, ночное небо лучше! Было здоровье и сила: христианство сказало — нет, плоть есть враг человека и надо ее умерщвлять! Было счастье: христианство сказало, — нет, друзья, будем страдать и плакать! И так далее и так далее, почти до бесконечности, — все оказалось вывернуто на изнанку. Нормально, мир должен был бы

расхохотаться, залиться плотоядным, презрительным смехом и вытолкнуть всех этих сумасшедших евреев, в их вечно-сумасшедшую Палестину, вместо того, чтобы приняться окрашивать их бред в благородные эллинистические тона. Но случилось то, чего нельзя было ждать, и никакие ссылки на тоску и растерянность языческого мира к началу нашей эры всего не объясняют и не оправдывают. Стоит только отряхнуть с себя нашу общую двадцативековую привычку к результатам этой «переоценки ценностей», как слова Цельсия предстают во всей своей неопровержимости. Действительно, есть тут какая-то тайна, или скажем проще: загадка!

2) Под окном шла бесконечная католическая процессия, с детьми впереди, со взрослыми за ними, с крестами, хоругвями, священниками, певчими, затем снова детьми, с какими-то стариками и старухами, и была на всех лицах такая глубокая, счастливая вера, что я вспомнил Розанова, одну из тех фраз его, которые пронзили меня на всю жизнь: «И да сияют образа эти вечно!», из предисловия к «Лунному свету».

Но оставим Розанова . . . Шла у меня вчера под окном католическая процессия. На всех лицах была вера, и если бы любого из шедших спросить: ты знаешь, что ждет людей за гробом? ты знаешь, что будет Страшный Суд? ты знаешь, что есть рай и ад? — каждый без колебаний ответил бы: верю, знаю.

И вот я подумал: до чего доверчивы люди! В сущности, они ведь ровно ничего не знают. Но им сказали, что за гробом будет то-то и то-то, что на небесах происходит то-то, — и они приняли все это, как истину, с чужих слов. Духовный опыт? Бросьте ссылаться по привычке на этот вздор. Духовный опыт, если и бывает, то у одного человека на миллионы, да и то сводится он к чему-то бесформенному и неуловимому. А тут ведь у каждого в голове таблица с описанием и расписанием всевозможных потусторонних происшествий, и

ни малейшего сомнения насчет ее точности... До чего доверчивы люди! Откровение? Откровение, если и было, то ведь никак не у них, им рассказали, что было откровение, что в таких-то книгах оно запечатлено. И они поверили! Если вдуматься, это ошеломляет. Один за другим, идут, поют, что-то будто бы знают, веками, веками, и все с чужих слов... Но и хорошо, что верят, было бы в мире больше несчастных людей, если бы не верили, «и да сияют образа эти вечно!»

3) У меня нет сына. И пожалуй, слава Богу, что нет. Потому что если бы у меня был сын, я не знал бы что ему сказать. Знаете, я всегда представляю себе, — хотя на деле это вероятно редко случается, — что в шестнадцать-семнадцать лет мальчик может придти к отцу и сказать приблизительно следующее: «Папа, ты прожил несколько десятков лет, ты много видел и читал, много думал, скажи мне, — что такое жизнь? скажи мне, как надо жить?»

И я не знал бы, что ему ответить. Вероятно, я сказал бы ему то же самое, что сказали бы в таком случае и другие: надо работать, надо иметь идеалы, надо быть честным и смелым, надо уважать чужие мнения. Надо, наконец, «бороться», как принято выражаться: неизвестно, за что бороться, но бороться. Как же в самом деле не «бороться»? Но если бы сын у меня был умный, не такой, от которого можно отделаться прописями, он понял бы, что у меня нет для него ответа. Не только насчет того, что такое жизнь, — тут никакого ответа и не может быть! — но и о том, как следует жить и что важнее всего в этом смысле. Да, я прожил несколько десятков лет, читал, вглядывался, и по мере отпущенных мне сил думал. Но чем глубже вдумываюсь, чем больше себя проверяю, тем яснее сознаю, что не могу ни на чем остановиться окончательно. Ко-

нечно, надо работать! Конечно, надо бороться! Но... но... и тут меня охватывают такие сомнения, и даже, за других, такая усталость от трудолюбивой поддержки всех наших шатающихся устоев, что в конце концов положил бы я сыну руки на плечи и сказал бы: «Не знаю, дорогой! И не верь тем, которые думают, что знают». Если бы он хотел просто-напросто добиться успеха в жизни, рецептов для этого сколько угодно. Но сомнения-то мои именно к успехам и обращены, притом не только в грубых их видах, но и в других. Пожалуй все-таки кое-что я посоветовал бы... Как там сказано — «учитесь властвовать собой»? Так вот, не «властвовать», а «жертвовать»: учитесь жертвовать собой! Не очень собой дорожите, а остальное приложится... да, приложится, даже если с такими советами как мои, и умрешь ты где-нибудь под забором, не оставив никакого следа, ни на каком «поприще». Вот насчет «поприща» ничего сказать не могу, — но ведь ты не об этом и спрашивал, не об этом, нет?

4) Вспоминая свою молодость, я даже приблизительно не могу определить, когда именно наступил в ней перелом, по моему очень важный. И присматриваясь к теперешним «русским мальчикам», да и не только русским, тоже не знаю, когда это с ними случается. Но должно бы случиться непременно, и собственно говоря, только с этого момента человек становится взрослым.

В ранней юности само собой возникает противопоставление: «я», «мы», то есть сверстники — и «они», старшие. «Они» представляются силой или средой, если и не враждебной, то чуждой: вроде, как если бы мореплаватели, высадившись на неведомом острове, нашли там туземцев, занявших лучшие места. Что у «нас» с «ними» общего, в самом деле? Иной язык, иные

нравы, иные влечения и надежды. Бывает даже, что налет «чуждости» ложится в юности на самую жизнь: самая жизнь «нас», еще ничем с ней прочно не связанных, будто бы не касается, и участвовать в ее передрягах «мы» не намерены. «Они» что-то там намудрили, напутали, каких-то бед натворили, пусть в них и разбираются, а мы постоим в стороне.

Вероятно перелом наступает с первым толчком сзади, от новых, следующих мореплавателей, и случается это рано, лет в тридцать, а то и раньше. Человек вдруг понимает, вернее чувствует, что попал в ловушку и что у судьбы нет ни желания, ни основания, ни даже возможности отнестись к нему иначе, чем к другим. Иллюзии насчет стояния в стороне рассеиваются. «Товарищ, друг, дай мне руку», как склонен бы сказать Блок. Но те, очередные «новые», в рукопожатьи не нуждаются, и приняли бы его нехотя, со скептической, недоумевающей усмешкой. До следующего, очередного толчка в спину, когда в том же положении окажутся и они.

5) Было время я любил читать новые книги, бывать там, где обсуждались новые идеи, новые стихи, то вообще, что называется «веяниями».

Но теперь мне почти все стало казаться так глупо и ничтожно, настолько «ни к чему», что, честное слово, предпочитаю я сидеть у себя сложа руки и смотреть в потолок. По крайней мере, «покой и свобода!» Раскрой журнал: Боже мой, о чем они пишут! и как пишут! Пойдешь на какое-нибудь собрание: Боже мой, какие самодовольные физиономии, какое пустословие! Хочется бежать, выйти на улицу, где небо, дождь, ветер, и никто не лезет из кожи, чтобы продемонстрировать, какой он умный... Но в глубине-то души я прекрасно знаю, в чем дело, и если бы не лукавил, должен был бы сказать себе: ничто не изменилось, люди не ху-

же и не лучше, чем были прежде, это ты, голубчик, уходишь мало-помалу из жизни, выпускаешь ее из рук — и брюзжишь, а то даже сердишься, что она продолжается и без тебя!

«Люди не могли бы жить, если боги не дали бы им дара забвения».

Кому из великих древних поэтов, Эсхилу или Эврипиду, принадлежит эта глубокая и верная мысль? Вероятно, это — Эврипид, который вообще много сказал такого, что кажется сказанным не две с половиной тысячью лет тому назад, а вчера.

Дар забвения... Если мы теперь пишем, просматриваем журналы, ходим на литературные собрания, невозмутимо спорим о том, какова должна быть в наши дни поэзия и влияет ли кинематограф на литературу, если вообще мы «живем», в том суетливом, мелком, повседневном, ничтожном смысле слова, которого нечем заменить, если даже по мере сил, со «скудеющей в жилах кровью» еще влюбляемся и скучаем, то только благодаря тому, что наделены способностью забывать. Иначе мы должны были бы сойти с ума или сидеть в каком-то столбняке, недоумевая: неужели все это было? совсем недавно было? как все это могло случиться? как же после этого перейти к житейским очередным делам?

Неправильно было бы сказать, что человек отгоняет от себя тревожащие его воспоминания. Не приходится и отгонять. Нечего отгонять. Воспоминания лежат под спудом, они не уничтожены, но вытеснены в прошлое, и не влияют ни на мысли наши, ни на поступки. Иначе нельзя было бы жить. Внезапно, как молния, то или другое из них пронесется в сознании, взбудоражив его, а затем опять тьма, безразличье и привычные интересы или заботы. Двигало ли богами

милосердие к человеку, было ли у них к нему скорей пренебрежение, как к созданию не совсем удавшемуся, с которым не стоит и возиться, — кто скажет? Но некое соответствие между существом и существованием, между нами и жизнью оказалось соблюдено.

Случается над этим задуматься. Попадется какая-нибудь газетная статья, вроде той, на которую хорошо, с верным указанием на «нерелигиозное использование религии», ответил недавно архиепископ Иоанн. Попадется роман, вроде «Хождения по мукам», книги столь же отвратительной, сколь и талантливой, книги о которой хотелось бы сказать, что она слишком легко-весно-занятна для своей темы, слишком пестра, бойка, картинна, шаблонно-увлекательна, что в ней «хождений» много, а «мук» мало, что тему свою она погребла под всякими беллетристическими завитушками и виньетками, правда, прекрасно сработанными... Прочтешь, перечтешь что-нибудь такое, «бередящее старые раны» — и задумаешься над благодатным бесчувствием и беспамятством человека. Не будь человек чурбаном, мы не находили бы себе места, были бы от ужаса и стыда, усиленного еще и тем, что повидимому «так было и так будет», пока стоит свет. Мы бросили бы запоздалые, мстительные, глупые взаимные обвинения, поняли бы, что все виноваты, каждый по своему, что всем есть в чем упрекнуть себя, есть от чего внезапно покраснеть «до корней волос», что в судьи нас никто не ставил, что слепая жестокость истории воплощается в отдельных волях, которыми играет, как пешками, что какая-то общечеловеческая круговая порука должна бы восторжествовать над раздорами, над страшным и бессмысленным месивом последних десятилетий. Словом, мы не «жили» бы, а остановились бы в оцепенении, со внезапной остановкой всех бесчисленных мелких колесиков, на которых благополучно катимся от одного дня к другому, от года к другому году, и дальше, дальше к общему для всех нас финалу, с ре-

чами, венками или без речей и без венков, в яме... Но мы живем.

— Да, да, конечно, все это ужасно, да, поговорим об этом когда-нибудь в другой раз, да, совершенно верно, нельзя забыть, «человек человеку бревно», я сам так считаю... А знаете, завтра вечером г. Икс, только что прилетевший из Мюнхена, читает доклад с любопытнейшими, говорят, прогнозами насчет эволюции международных отношений. Наш г. Игрек рвет и мечет, говорит, что пахнет провокацией, собирается возражать. Надо бы сбегать за билетом, а то все разберут, при входе не останется. Но вы что-то морщитесь... Неужели вам не интересно?

— Нет, интересно. Возьмите пожалуйста и для меня билетик.

НАСЛЕДСТВО БЛОКА

Не думаю, чтобы существовал когда-либо в России поэт, которого при жизни любили так, как сверстники и младшие современники любили Александра Блока. Пушкин? Нет, при всем увлечении его поэзией в двадцатых и тридцатых годах прошлого века, подлинное признание Пушкина и настоящая оценка его значения пришли позднее, после того, иак гимназист-Писарев (да, гимназист, — но даже в озорстве своем какой талантливый, как много обещавший гимназист!) вдоволь наиздевался над «миленьким, маленьким Пушкиным», после речи Достоевского, полной фантастических домыслов и догадок, но несомненно положившей начало новому, углубленному взгляду на «Онегина» и все пушкинское творчество. Некрасова любили до слез, до тех «рыданий над книжкой», о которых говорил, помнится, еще Треплев в «Чайке», но любили вопреки мнению знатоков, дружно утверждавших, что поэзия в некрасовских стихах «и не ночевала». О Надсоне или о Бальмонте незачем упоминать: это были метеоры, мерцавшие обманчивым, неверным светом, и исчезнувшие, надо полагать, бесследно.

Блок был для современников Поэтом с большой буквы, не то чтобы первым по мастерству или чисто литературным достоинствам, а скорей единственным

по совпадению с духом эпохи, корифеем, объединителем хора, составленного из противоречивых голосов. Нечто вроде подданства по отношению к Блоку чувствовали, — хотя не всегда открыто признавали, — все те в нашей поэзии, кто был моложе его. С природной своей порывистостью, со своим даром восхищения и преклонения это выразила Цветаева в цикле «стихов к Блоку», где одно стихотворение, — кстати сказать, чудесное, одно из лучших Цветаевой когда-либо написанных, — кончается восклицанием: «Вседержитель моей души!» Для Ахматовой Блок был «нашим солнцем». Даже такой человек, как Ходасевич, менее всего расположенный к порывистости, склонен был другими словами сказать приблизительно то же самое. У меня остался в памяти один позднейший, уже парижский разговор с ним, когда перебрав, — как обычно в таких случаях водится, — одну за другой различные цитаты из блоковских стихотворений, в частности несколько раз повторив строки «Будьте ж довольны жизнью своей...», Ходасевич сказал: «Что тут говорить, был Пушкин и был Блок... Все остальное — между!» — с интонацией, похожей, вероятно, на ту, с которой Писемский сказал о молодом «офицеришке» Толстом: «хоть перо бросай!»

Блок был прежде всего поэтом поколения, выразившим все то темное, смутное, горестное, — впрочем, и смешанное с какими-то надеждами, — что наполняло умы и души людей, сложившихся в предреволюционные годы. Он сам дал этому поколению имя: «дети страшных лет России». Для него был у Блока свой особый message, не вполне поддававшийся, конечно, переводу на язык логический, но улавливавшийся современниками в самом тоне его стихов и глубоко их волновавший. Бывали дни, когда прочитав в каком-нибудь

журнале новое блоковское стихотворение, — вот хотя бы эти строки о «детях России», появившиеся в «Аполлоне», — они чувствовали и знали, что прочли нечто для себя крайне важное и оставались под этим впечатлением надолго: всякие другие стихи, даже и те, которые определяются, как «блестящие», «мастерские», казались рядом досужей выдумкой.

Конец Блока, духовное крушение его было в этом смысле не только развязкой его личной драмы, а и событием, которое по тогдашним условиям, по тогдашнему обострению всех ощущений и эмоций, в «разреженном воздухе уходящей эпохи» представлялось событием общенациональным, полным еще неведомого исторического значения, приблизительно как 29 января 1837 года... Блок казался жертвой, которую приносила Россия. Зачем? Никто не знал. Кому? Ответить никто не был в состоянии. Но что Блок был лучшим сыном России, что если жертва нужна, выбор судьбы должен был пасть именно на него, — насчет этого не было сомнений в тот вечно-памятный январьский день, когда он в ледяном зале петербургского «Дома Литераторов» на Бассейной, бледный, больной, весь какой-то уже окаменелый и померкший, еле разжимая челюсти, читал свою пушкинскую речь. А ведь споры о «Двенадцати» были тогда в полном разгаре, и несомненно были в зале люди, которым поэма эта представлялась и политическим предательством, и кощунством! Но даже если они и склонны были, как Зинаида Гиппиус, сказать: «я не прощу никогда», то вслед за ней тут же спешили добавить «твоя душа невинна». Заподозрить Блока в расчете и каких-либо сделках с совестью способен был только сумасшедший, а ошибки... кто же в состоянии прожить без ошибок? Не есть ли риск, а значит и возможность проигрыша, одно из условий духовного движения и роста?

Однако все это далеко. Прошло с тех пор тридцать пять лет. Как ни трудно представить себе это людям, его знавшим, Блок был бы в наши дни стариком, более чем «маститым». Не только новые поколения, но и блоковские сверстники и современники вправе спросить себя: что осталось от былых восторгов и головокружений, что с годами развеялось? Время не учит ни безразличью, ни равнодушию, но мало-помалу время избавляет от иллюзий и дает возможность издалека взглянуть на то, что на коротком расстоянии оставалось незаметным. Наши предреволюционные сомнения и надежды, магически Блоком оркестрованные, напетые им на какую-то волшебную пластинку, стали воспоминаниями, — притом такими, к которым теперь и перенестись мыслью трудно без недоумения: о чем они были, откуда, куда, к чему? Остались, значит, стихи, остался блоковский текст, без поддержки извне, без нашего самозабвенного, послушного с ним сотрудничества. Перечтем эти стихи с посильным беспристрастием, — однако, добавлю сразу, без колебаний: с уверенностью, что о разочаровании или о «переоценке» сколько-нибудь коренной, полной, не может быть и речи.

Но сначала несколько слов о русском символизме вообще, столь мало похожем на символизм французский, с которым его часто связывают.

В лучшем, наиболее органическом, что русские поэты-символисты оставили, есть черта постоянная, объединяющая авторов различных: то, что определялось в те годы, как «трепет», и что было в сущности ожиданием какого-то огромного события, как бы уже нависшего над миром, катастрофы, счастья, «преображения жизни», как тогда говорили, — кто знал, чего? Андрей Белый язвительно смеялся в своих воспоминаниях о Блоке над адвокатами, игравшими в мистику, утверждавшими, что «посвященный уже шествует по Мос-

кве», несшими и другой вздор, — но смеялся над болтунами и шарлатанами, а не над тем, о чем говорили они по наслышке и к чему старались приблизиться. Сам-то он, вместе с Блоком, и был именно одним из людей, которые чувствовали и предчувствовали больше, чем способны были отчетливо выразить. Соловьевских видений и формул уже не хватало. «Трепет» с каждым годом изменялся в своей сущности, у Блока в особенности, мало-помалу соскальзывавшего от обольстительно-соблазнительного соловьевства к нищему, прозаическому толстовству, и именно в силу этого решившегося на горькие упреки по адресу Вячеслава Иванова, безмятежно державшегося на своих метафизических высотах...

Если бы тогда Блоку, Белому или Вячеславу Иванову сказали, что впереди — революция, что это она, а ни что другое, составляет содержание их предчувствий, и даже эти предчувствия оправдывает, вероятно они такое истолкование отвергли бы. Революция пусть и очень большое событие, но все же не такое, какого они, казалось, ждали: не того характера, не того значения! Им нужно было бы что-нибудь вроде Второго Пришествия или светопреставления, чтобы соблюден был уровень надежд, волхвований и заклинаний... Но теперь, когда умы у нас достаточно охлаждены, не самое ли это правдоподобное объяснение особой сущности русской поэзии начала нашего века, даже у Анненского, от всяких гаданий и прозрений далекого? Никто в те времена не предвидел размаха будущего потрясения, никто не представлял себе, до какой степени смысл и значение революции выйдет за пределы чисто политических рамок. Никто не предполагал, что предстоит, — притом в ближайшие годы, — крушение всего, бывшего в русском строе, в русском жизненном укладе с точки зрения иных крупнейших русских мыслителей — Достоевского, Тютчева, — чуть ли не отражением божественной воли. По Тютчеву предстояла борьба мра-

ка и света, а Блок ведь говорил не только о «детях страшных лет России», но и о «детях добра и света». Революцию ждали и считали неизбежной давно, в течении долгих десятилетий, и нельзя, разумеется, думать, что былые ожидания никакого воздействия на поэтов-символистов не оказали. Однако элементы рассудочные были в них вытеснены другими, более или менее иррациональными, а общий характер эпохи окрасил целое в свои особые тона. Не думаю, чтобы тревожный и квази-религиозный характер русской символической поэзии был сколько-нибудь умален, если признать, что другого объяснения, — и даже другого обоснования, — у него нет.

Определить с точностью, что такое стихи, что такое вообще поэзия до крайности трудно. Не легко установить и правильное отношение, правильный «подход» к стихам.

Стихи можно читать, как всякий печатный текст или рукопись, вникая прежде всего в значение слов и общий смысл сказанного. Отношение это в крайних своих формах не только заведомо-неправильно, но и просто-напросто абсурдно, однако до сих пор оно очень распространено, даже среди людей образованных, «культурных». Стихи можно и слушать, как слушаем мы музыку, поддаваясь главным образом воздействию ритма и сцепления звуков... Истина, то есть «подход» вернее других соответствующий природе и сущности поэзии, повидимому, где-то посредине, как и в большинстве случаев. Некоторые поэты, — у нас, например, на вершинах творчества Пушкин, а на высотах более скромных, скажем, Гумилев, — такое отношение сами внушают, настойчиво его требуют, стремясь в стихах к гармонии стили и напева.

Блок пушкинской традиции чужд.

Со стилистической точки зрения у Блока уязвимо многое, и даже в те годы, когда словесная расплывчатость оправдывалась восприятием мира и жизни, как чего-то преходящего и призрачного, это смущало иных его читателей. У Блока в стихах много «воды», и достаточно сравнить любое его стихотворение с любым стихотворением Анненского, — пора, наконец, сказать: единственно-возможного, вместе с Блоком, претендента на русский поэтический трон со смерти Тютчева и Некрасова! — чтобы в этом убедиться. Анненский неизмеримо «гуще» Блока, всегда вещественнее его. У Анненского слово значит то, что значит, и хотя он один из всех русских символистов действительно чему-то научился у Маллармэ и других французов, влияние великой русской прозы было повидимому на него еще сильнее. Не говоря уже о том, что Анненский несомненно «вышел из Шинели», — он и стилистически остался несколько прозаичен, вопреки веяниям времени. Впрочем, неизгладимое впечатление произвели на него, классика по образованию, и греки, в частности Эврипид, страстно им любимый.

Блока ничто классическое не привлекало, Блок — ультра-романтик, и для него символизм был именно продолжением романтизма, при том, конечно, немецкого, а не французского. Порой, перечитывая некоторые средние, ординарные блоковские стихи, написанные без подъема, вспоминаешь пушкинские слова о стихах Ленского, тем более, что их и легко перефразировать: «темно и вяло», «что символизмом мы зовем»... Блока спасает и возвеличивает в лучшие его моменты именно подъем, дающий его напеву неотразимую силу, именно тот огонь, то отражение «гибельного пожара», в котором он горел и сгорел, а вовсе не такого рода мастерство, которое можно было бы отделить от самого предмета поэзии, как, например, у Брюсова. Во всяком случае — не мастерство стилистическое.

Не знаю, было ли у него пристрастие к метафорам «как таковым» и считал ли он, подобно многим современным поэтам, русским и в особенности западным, что без образности вообще нет поэзии. Едва ли. Но случилось ему иногда, будто по инерции, нагромождать образ один на другой до совершенной неразберихи, — и не в силу творческого метода или принципа, как делает это Пастернак, а скорее потому, что для его «несказанного» слов настоящих не было и подбирали он слова лишь как условные знаки. Сошлюсь в качестве примера на знаменитое стихотворение «Все на земле умрет...», где ради вкушения «иной», неземной сладости поэту советуется «взять свой челн», «плыть на дальний полюс», приучать душу «к вздрагиваниям медленного хлада», и прочее, и прочее... А стихи — дивные в ритмической своей убедительности, в глухой и печальной своей музыке, такие, каких кроме Блока никому и не написать. Надо сделать усилие, чтобы очнуться и спросить себя: что же это все-таки такое, эти челны, эти полярные экспедиции и леденящие вздрагивания, и если это не настоящий челн и не настоящий географический полюс, к чему декорации? После прекрасных первых двух строк, ведя и развивая ту же неотразимую мелодию, не иллюстрирует ли ее поэт некой лубочной картинкой на мистические лады?

Указание на ошибки чутья и вкуса вызовет пожалуй гневные возражения. Что за самоуверенность! — возмутятся иные читатели: подумаешь, обнаружил у Блока безвкусицы! Очевидно свой вкус он, критик, считает непогрешимым! Споров такого рода было много и далеко не всегда они разрешались в пользу критиков (Белинский считал, например, безвкусным лермонтовского «Ангела»!). Надо поэтому быть осмотрительным. Однако «узкие ботинки», о которых поэт помнит, «влюбляясь в хладные меха», или «французский каблук», вонзающийся в сердце, да и кое-что другое, при самой крайней осмотрительности невозможно оценить

иначе, как досаднейшие срывы... Только вот что следует тут же заметить: если срывается Бальмонт, со всякими «атласными грудями», если срывается Брюсов, что бывало и с ним часто, вплоть до «выключателя», на который следует нажать, — или не следует нажимать, не помню точно, — во время любовного сеанса, — получается просто пошлость, иначе не скажешь. У Блока пошлостей нет и быть их не может, — потому, что все всегда поддержано у него изнутри, очищено еще в замысле. Бывают у него слабые строчки, бывают неудачные строчки, но даже и в них еще теплится огонь, не гаснущий никогда.

Умышленно я подчеркнул — может быть даже настойчивее, чем следовало — то, что должно быть отнесено к слабым сторонам блоковской поэзии. Незачем закрывать себе глаза на эти слабости и несправедливо было бы счесть их разбор педантической придиркой или разглядыванием пятен на солнце. За Блока бояться нечего, и чем сильнее свет, наведенный на его поэзию, тем и лучше: это как бы страховка от возможности каких-либо критических пересмотров. Отчасти ведь именно в том величье Блока и открывается, что при несомненной стилистической своей спорности, а порой и тусклости, он все же в состоянии был «глаголом жечь сердца людей», как никто другой из его современников.

Мастерство Блока главным образом ритмическое, и вряд ли можно назвать поэта, у которого интонация и напев имели бы большее значение. Употребляя обычный термин «мастерство», я все же хотел бы оговориться, что и в области ритма Блок был скорей интуитивен, чем сознательно расчетлив и искусен. Но интуиция, то есть в данном случае способность найти напев, наиболее отвечающий смыслу слов, или оборвать его, ввести паузу именно там, где она нужна, интуиция эта

никогда ему не изменяла. Благодаря своему удивительному ритмическому дару, своему «абсолютному слуху», Блок достигал подлинной магии в стихах, где стремился выразить основное состояние своей души: темный ужас, ею владевший, и нечто вроде солидарности со всеми людьми перед судьбами, от которых — по Пушкину — «защиты нет».

Есть ли что-нибудь во всей нашей поэзии более завораживающее, чем восьмистишие о мировой бессмыслице:

Ночь, улица, фонарь, аптека . . .

— где простые, на этот раз не книжные, не условно-символические, не выдуманные слова, вроде ирреальных челнов и полюсов, в точности отвечают такой же простой, как бы неумолимо-простой, безысходной мелодии текста. При одном воспоминании о таких блоковских удачах, убеждаешься, что своим, пусть и окольным, путем он достигал цели, которой стихотворцы, изошрившиеся в искусстве «делать стихи», не достигнут никогда, даже с точки зрения «делания». Не потому, конечно, Блок велик, что он был возвышенно настроен и полон глубоко-поэтических чувств, — и если замечания о его стиле могут кого-нибудь склонить сделать такой вывод, это был бы вывод ошибочный: Блок велик потому, что в его лучших стихах содержание — нередко таинственное, но без нарочитого затуманивания, — слито со всем, что это содержание выражает; потому, что стихи его ни о чем не рассказывают, но все передают; потому, наконец, что стихи его не «о чем-то», а само это «что-то».

Блок не был мастером в каком-либо школьном смысле, и если бы он свою школу создал, это была бы вероятно школа плохая. Учиться у Блока в формальной области почти нечему, а приблизиться к нему, без подделки и пародии, в силах только тот, кто сколько-нибудь с ним схож. В тех случаях, когда Блока оставляло вдохновение, — или когда он требовал от своего вдох-

новения того, к чему не было оно склонно, — получалось у него нечто далеко не перворазрядное. «Скифы», например: риторика, декламация, с отдельными ослепительными проблесками, но в целом — работа на тройку с плюсом. Не говоря уж о «Клеветниках России», вещи тоже риторической, но блестящей именно в качестве «упражнения на заданную тему», Брюсов, вздумай он написать «Скифы», написал бы их лучше Блока, и пожалуй сильнее Блока оказался бы даже Макс Волошин: риторика была их делом, их призванием. Однако, когда Блок попадал в свой тон, в свою линию, Брюсов с Волошиным были в сравнении с ним грубыми ремесленниками, не Сальери рядом с Моцартом, а людьми, знающими толк в азах и прописях искусства, но не подзревающими (во всяком случае, не показавшими этого на практике), что азы и прописи существуют исключительно для того, чтобы их узнать, понять, усвоить — и забыть. Бунин где-то говорит о Чехове, что он писал «небесно» (кажется, об «Архиерее»). Так и Блок иногда писал «небесно». Да, иногда, не всегда... Но поэта и надо судить по «иногда»: десяти-пятнадцати таких небесных «иногда» достаточно для бессмертия.

Что составляет сущность поэзии Блока и дает ей смысл? Надеюсь, нет в наши дни комментаторов, которые решились бы обстоятельно излагать своими словами то, что Блок будто бы «хотел сказать». Если бы такая задача могла быть успешно выполнена, следовало бы заключить, что Блок — не поэт.

Вспомним строки его о детях «добра и света»: едва ли не в них — ключ к его творчеству, разгадка особого характера этого творчества... «Дитя добра и света». Для Блока мир, его окружавший, — со всем тем упительным, восхитительным, единственным, к чему никакие потусторонние видения вкуса у человека не ото-

бьют, — был все же миром «страшным», и воля Блока была направлена к тому, чтобы его изменить, притом в двойном смысле: первичном и другом, метафизическом, однако для него ничуть не менее реальном. Блок не бежал из «страшного мира», а наоборот видел в поэзии помощь «добру и свету», с судьбой которых связывал и свою судьбу, и судьбу всех людей. Я упомянул выше о «солидарности», которая при чтении блоковских стихов мало-помалу выделяется среди случайных мотивов, как одна из основных его тем, пожалуй, даже самая основная: да, солидарность, — или лучше, круговая порука. Оттого поэзия Блока так и действенна, что при неумолимой, драматической последовательности во внутреннем развитии она до крайности антиэгоистична и вся проникнута сознанием ответственности всех за все, с очевидной готовностью поэта первым принять возмездие, стать первой жертвой. «Дай мне руку, товарищ, друг»: наиболее блоковские из блоковских стихов это неизменно и говорят, и нет в них ничего патетичнее иных вопросительных интонаций: «Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?», «В самом чистом, в самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос?» Все кончено, надеждам больше нет места, но камнем человек не стал, и образу и подобию своему по-прежнему верен.

Блок духовно-щедрее, неизмеримо расточительнее Анненского, и оттого выигрывает в сравнении с ним. У Анненского при всей его щемящей «шинельности» чувствуется осторожность, сдержанность в излучении энергии, и не случайно Вяч. Иванов в статье о нем и его последователях обронил жестокое, тончайшее замечание о «скупых нищих». В дополнение к этим двум словам, а отчасти и в возражение им, можно было бы сказать многое, но есть в них и доля правды... Блок к скупости органически неспособен, как и неспособен к расчету. Блок — там, где остальные люди, Блок заодно с ними, что бы ни случилось, и этим, — ничем другим,

— объясняется, отчего он теснее Анненского связан с эпохой, а частью и теряет, вместе с ее исчезновением, былую свою притягательную силу. Блок не способен писать «для вечности», будучи свидетелем и участником некоторого исторического периода в жизни России: ему очевидно представлялось непреложным долгом, да и единственной возможностью, жить в свое время, пусть и с риском преимущественно временное отразить. Это было для него тем естественнее, что время его оказалось исключительно тревожно и само собой толкало сознание к мыслям и чувствам, к сомнениям и вопросам, от «вечности» не очень и далеким. Пожалуй кое в чем Блок стал менее убедителен, чем был сорок лет тому назад, да и мы кое к чему «оглохли», выражаясь его языком. Но связь свою со временем Блок все-таки преодолевает тем, что по натуре своей неспособен смешать ее со злободневностью: «прошлое страстно глядится в грядущее, нет настоящего — жалкого нет». Он писал о России, он думал о ее участи, о значении и смысле ее исторических несчастий, о двоящейся, полудемонической, полу-ангельской сущности искусства, с «роковой о гибели вестью», рано или поздно становящейся для художника достоверностью, — а за этим было недоумение, которое с первым человеком на земле возникло и с последним умрет: кто я? откуда? что значит все то, что вокруг себя и вижу?

Неотразимость блоковских стихов держится еще и на том (подчеркиваю: и на том, — а в статье, которая претендовала бы на полноту, таких «и» должно бы оказаться много), что у него поистине был «песен дивный дар», соловьиный голос, страдивариусовская скрипка в руках, какой давно в русской поэзии слышно не было. Помнит ли читатель «То не ели, не тонкие ели...» из «Ночных часов»? Или «О, весна без конца и без края...» Когда о других поэтах говорят «пел», «поет», это условное выражение. Для Блока оно почти точно.

Несомненно, в самых существенных чертах своей поэзии Блок продолжает Лермонтова, хотя о Лермонтове мы можем больше догадываться, чем действительно судить, из-за количественной скудости того, что успел он оставить драгоценного и волшебного. От Лермонтова — драматизм внутренней биографии. Круговая порука тоже — от Лермонтова. А главное — в отношении к творчеству: Пушкин в поэзии ищет совершенства, Лермонтов в поэзии ждет чуда, — и свое «бессмысленное мечтание» передал Блоку.

Ко времени выхода в свет «Ночных часов», — Блоку было тогда около тридцати лет, — следует, мне кажется, отнести расцвет его творчества, длившийся до революции или немногим менее. Стихи этого периода, — «На поле Куликовом», «Художник», «Шаги командора», «Пляска смерти» и другие, — полны мужественной силы, недостававшей Блоку в юности. Чувствуется в них истинная зрелость поэта, гармония устремлений, остановка в зените. Гумилев, помнится, писал о «царственном безумии, влитом в полнозвучный стих» и по не совсем для меня понятному скачку мысли добавил, что оно «достойно Байрона». С Байроном или без Байрона, оценка была верная. *

Что было потом? Стихи, включенные в «Седое утро», с формальной точки зрения пожалуй самые искусные из всего Блоком написанного, однако разъедаемые кап-

* По поводу «Куликова поля» Бунин как-то мне сказал: «Послушайте, да ведь это же Васнецов». На словах я, как водится, запротестовал, а про себя подумал: «Как верно, как убийственно-метко». Да, Васнецов, то есть маскарад и опера... Но тут мы возвращаемся к стилю, а если в «Куликово поле» вслушаться, то чудится, что татарские орды где-то в двух шагах, схватка неминуема и отстоять надо не древнерусские города, а что-то такое, без чего нельзя жить.

лей серной кислоты, в них попавшей, — будто внушены они сыном, иронизирующим над «промотавшимся отцом» еще при его жизни...

Он нашел весьма банальной

Смерть души своей печальной.

Очень искусно сказано: вкрадчиво, ядовито-насмешливо, превосходно! Дисгармония, вносимая непривычным в лирике эпитетом «банальный», да еще с «весьма» в придачу, — по неожиданности прозаического эффекта достойная Анненского, — сразу действует, «доходит». Но не подозрительна ли эта ирония? «Над кем смеетесь, над собой смеетесь?» Нет ли в странно-радужных переливах настроений, отраженных в «Седом утре», в причудливости эмоций, прежде Блоку чуждых, чего-то, смутно напоминающего разложение материи или организма, еще недавно цельного. «Утреет. С Богом! По домам». К утру, к утреннему отрезвлению после ничего не давших соблазнительно-мистических ночных пиршеств давно уже шла поэзия Блока, но в последнюю минуту, вместо бесстрашного взгляда в лицо истине, какова бы она ни была, появилась в ней усмешка, — двусмысленная, блудливая, уклончивая, как улыбка леонардовской Монны-Лизы по Флоренскому (в замечательной его книге «Столп и утверждение»).

Как это случилось, почему — Блок вероятно сам не знал. Но о возможности духовного умирания, и даже смерти, задолго до исчезновения физического, он говорил не раз, и с такой настойчивостью, что повидимому опыт по этой части у него был. «Живым и страстным притворяться» — как мертвец на балу, у «хозяйки-дуры и супруга-дурака», — большой охоты у него не было: он над собой усмехался, но состояния своего не скрывал.

Потом была революция, «Скифы», «Двенадцать», самое знаменитое из произведений Блока, а по распространенному мнению и самое значительное. Над тем,

что эта поэма значит, и как следует истолковать появление Христа в заключительных строках ее, бьются люди до сих пор: бьются и спорят. Каждое толкование по-своему законно, хотя ни одно из них не исключает возможности другого, — и еще раз скажу: Блок не был бы поэтом, если бы дело обстояло иначе. О «Медном Всаднике» было ведь тоже не мало споров, однако и до сих пор твердо не решено, направлена ли поэма к вящей славе «державца полумира» или к скрытому осуждению его.

Вспомнил я о «Медном Всаднике» не совсем случайно. При появлении «Двенадцати» блоковскую поэму сравнивали с пушкинской и без колебаний приписывали ей одинаковое значение в нашей литературе. Было действительно в ней что-то опьяняющее, затруднявшее беспристрастный анализ, — кто же станет это отрицать? Откровенно признаюсь, что и мне в те годы параллель «Медный Всадник» — «Двенадцать» не казалась преувеличенной, а если я об этом упоминаю, то лишь для того, чтобы избежать подтасовки фактов во всем знакомом жанре: «я всегда утверждал», «я и тогда предвидел», и так далее.

Но поэма выдохлась. Она насыщена злободневностью и потому увяла, обветшала. В ней нет, — как бывало в лучших стихах Блока, — второго подводного течения, не говоря уже о волнах таинственной и вещей музыки, поднимавшейся когда-то из глубин его сознания. Все ясно, нечего перечитывать. Остроумно, в особенности начало, но как-то непривычно мелко, бойко, чуть-чуть плоско и суетливо, — и как еще раз не вспомнить Пушкина: «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво!» Это сказано на века веков, это должны бы усвоить, как абсолютную истину, все поэты, хотя это и вовсе не значит, конечно, что стихи следует писать в духе ломоносовских од. Нет это значит... в сущности, это значит именно то, что Блок всем своим умом и сердцем знал, чувствовал

раньше, до «Двенадцати». Христос в конце, «в белом венчике из роз» . . . об этом и говорить тягостно: не кощунство в обычном смысле слова, не политическая ошибка, а образ невозможный, мучительно-легковесный и фальшивый, — потому, что нельзя же Христом пользоваться для литературного эффекта! А здесь именно эффект, под занавес. Блок ужасно волновался перед смертью, с содроганием вспоминал «Двенадцать», и даже в бреду говорил о них. Уверен, что не только политические сомнения терзали его, не брань бывших друзей, не одобрение друзей новых, а то, — и даже главным образом то, — что было грехом на его художнической совести. Слишком глубоко было у него сознание ответственности поэта за каждое слово, чтобы оплошность столь грандиозная и столько «малых сих» соблазнившая, столько откликов вызвавшая, не представлялась ему тяжким, непростительным преступлением.

Уверен еще и в другом: поэма «Двенадцать», если в нашей литературе и останется, то к сокровищам ее причислена не будет. Былые страсти улягутся, да в сущности улеглись они уже и теперь: кто же в самом деле станет теперь выискивать в этом ряде набросков, в этих горьких, растерянных и сбивчиво-живописных вариациях на октябрьские темы какую-либо политическую идею? Будет вероятно признано, что поэма искусно написана. Но того, что в истинной и бессмертной поэзии утоляет духовную жажду человека, — как в мире физическом: ледяное, горное, прозрачно-бездонное озеро, — этого будущее в «Двенадцати» не найдет.

Не только к роману, но иногда и к статье применимы слова о магическом кристалле, через который не совсем ясно, к чему она придет. Мне казалось, что для поэзии Блока настало время окончательных суждений. Но нет, рановато еще подводить итоги, и достаточно освежить впечатления, — кое-что перечесать, другое вспомнить, над третьим дольше, чем прежде, задумать—

ся, — чтобы противоречивые доводы с прежней силой вступили в борьбу.

Он был сыном великого русского девятнадцатого века и в поэзии своей дал к нему некое послесловие, печальное и несравненно-искреннее. Бывают писатели, глядящие в прошлое, страстно мечтающие о том, чтобы его продолжить, удержать: Бунин, например. Блок не мечтал ни о чем, да ни о чем и не тосковал. Блок носил в себе прошлое, договаривал, дошептывал все то, что когда-то упреками и вопросами взвилось к самому небу. Несомненно он был последним нашим «кающимся дворянином», и кстати, ничем другим невозможно объяснить его отношение к революции. Да и хмурая недоверчивость его к русскому культурно-эстетическому возрождению начала столетия, на вячеславо-ивановский или дягилевский лад, внушена была тем же самым. Народничество было его сердцу ближе, чем модернизм, а сознание его заблудилось где-то между этими двумя путями, не найдя себя в сущности ни на одном из них.

Сознание это было лишено всякого подобия пушкино-вольтеровской быстроты и точности. Блок мыслил по своему, но мыслил медленно и как бы оцупью. В нем была скорей мудрость, чем ум, а среда и эпоха навязали этой мудрости многое такое, что должно было бы остаться ей чуждо. Гибнет «Титаник», например. Блок признается в письме, что очень этому рад: «есть еще океан!» Когда люди, по разным причинам от Блока отталкивающиеся, на такие его строки указывают, возразить нечего: действительно, стыдно читать! Но эта мистическая чепуха насчет океана принадлежит среде, а Блок повинен лишь в том, что не успел весь прах ее от ног своих отрясти.

Замечательно в стихах его то, что каждое из них продолжает и дополняет другое, как комментарий к его внутренней биографии, с отчетливо намеченной линией восхождения и падения. Пожалуй, на этом и осно-

вана особая действенность блоковских стихов: читатель мало-помалу превращается в свидетеля драмы, при том свободной от влияния житейских невзгод, — как в случаях сравнительно мелких, скажем у Есенина Ни притворства, ни позы, ни лжи, ни кокетства, ни жалоб. Драма Блока развивается вне вмешательства каких-либо случайностей, исключительно в силу того, что был он человеком, который искал «не счастья, а правды», как было о нем справедливо сказано.

Ни о ком другом в нашей новой литературе повторить этих слов было бы нельзя. Оттого-то Блок и был в ней единственным «вседержителем душ». Оттого книги его — не сборники разных стихотворений, хороших или плохих, слабых или восхитительных, а летопись удач и неудач в каком-то таинственном деле, к которому обыкновенным смертным, — пусть и очень талантливым писателям, — доступа нет . . . Боюсь под конец, «под занавес» впасть в то же туманное и бесконтрольное краснобайство, о котором только что упомянул в связи с «океаном». Что это за дело, в которое вовлечен был Блок? Может быть, вовсе и нет его, может быть это всего только мираж? Не знаю, да и никто не знает. Но даже если в блоковских формах это только мираж, поэт оказавшийся в силах его создать, коснулся основ и свойств человеческого духа, — иначе не было бы ему в ответ всех этих длительных, протяжных откликов. Какая-то вечная, глухая борьба в мире идет. С Блоком мы по глубочайшему нашему ощущению, — и ничуть не забывая при этом о его ошибках, колебаниях и уступках, — с Блоком мы на верной, праведной стороне, на стороне «добра и света». Оттого и отречение от него, тоже по глубочайшему ощущению, ничем нельзя было бы оправдать, как ничем нельзя оправдать предательства.

ПОЭЗИЯ В ЭМИГРАЦИИ

Давно уже думая о статье, в которой было бы «изнутри» рассказано о поэзии в эмиграции, я думал и о названии ее, и хотелось мне взять для этого два всем известных исторических слова: «бессмысленные мечтания». Но намерение это я оставил: ирония, — говорил я сам себе, — опять ирония! Много скрытых бед наделала она в русской поэзии за последние полвека, пора бы с ней наконец и расстаться, пусть и помахав на прощание рукой в знак признательности за отдельные мелкие услуги: «с поэтическим», мол, «приветом!» Ирония ничем не лучше сентиментальности, это две родные сестры, обе происхождения темного, обе поведения сомнительного, с той лишь разницей, что одна из них, младшая, изящнее одевается и искуснее выдает себя за барыню-аристократку. В благопристойных домах однако принимать ее вскоре тоже перестанут. Отчего мечтания «бессмысленные»? Разве смысла не было? И если был он, этот смысл, бесконечно-ускользающим, разве мы первые, мы последние пытались райскую птицу эту за хвост поймать? Проще, точнее было бы другое название: Бедекер, путеводитель. Но о Бедекере говорил уже Блок в статье, помещенной в «Аполлоне» и написанной на приблизительно такую же тему... Кстати, кто читал эту его статью в двадцать лет, забудет ли ее когда-нибудь? Блок пробовал в ней переве-

сти на общий язык то, о чем писал стихи: предприятие было отважно до крайности, и при меньшей органичности поэзии могло бы привести к результатам комическим. У Блока логика сплеховала, и в штурме крепости-музыки сил ее оказалось недостаточно. Но тон его статьи, растерянные отзвуки ее, метеорные ее осколки, длящееся дребезжанье отдельных порвавшихся под натиском логики струн, — все это было для двадцатилетнего сознания откровением, от которого не отреклось оно и позднее, научившись многому другому.

Не хочу употреблять слово «музыка» в расплывчатом, хотя после Ницше и узаконенном значении. Правда, трудно без него обойтись, — но самое понятие это такое, о котором не следует говорить попусту. От самоограничения вреда не будет: чем меньше «музыки» в кавычках, тем и лучше.

Но музыка без кавычек . . . В наследстве, которое оставил нам символизм, было много трухи, громких слов, писавшихся с большой буквы, неосновательных претензий, напыщенной болтовни: было однако и что-то другое, не совсем выдохшееся и до сих пор. Наши поэты вероятно удивились бы, если бы услышали, что по вине символизма (или благодаря ему) у музыки они в долгу, притом даже те из них, для которых она — только шум, скучный и «дорогой», как смеялся Уайльд. Долг передан тоже по наследству, в тех впечатлениях и снах, которые дошли до нас уже без имени, без адреса, без отправительной этикетки. Последним передаточным пунктом был Вагнер. Если бы поэты наши о большем помнили своей личной памятью, они уловили бы, узнали бы — именно «узнавание»! — в иной обры-

вающейся мелодии «Тристана», или может быть в тех нескольких тактах, которые иллюстрируют предсмертное отрезвление Зигфрида, что-то свое, им странно близкое. У Вагнера было очень много пороков в творчестве, его во многом можно упрекнуть. Но некую безблагодатность вдохновения он искупил небывалым волевым усилием, позволившим ему коснуться того, что составляло когда-то содержание мифов, а вместе с ними и каких-то дремлящих в сознании человека, глубоких, загадочных воспоминаний. Символизм, искавший под конец прошлого века убежища от тиранических, измельчавших претензий этого века, немыслим без Вагнера, глуп и смешон без Вагнера, — и подданство по отношению к нему засвидетельствовано еще Бодлером в его знаменитом, именно «верноподданническом» письме.

Как жаль, что поэты в большинстве случаев ко всему этому так равнодушны! Может быть их стихи и не были бы лучше, будь это иначе, — может быть! А все-таки жаль: то в одной строчке, то в другой пробежала бы электрическая искра, за разряд которой можно простить и промахи, непростительные без нее. Не промахи, в сущности: вернее, слишком короткое расстояние между словом и поводом к его произнесению.

Андрей Белый утверждал, что столкновение Ницше с Вагнером было величайшим событием девятнадцатого века. Да, не прибегая к весам и прочим измерительным приборам, да, пожалуй это и так: одно из значительнейших событий, во всяком случае. Символизм, в лучшем, что он к жизни вызвал, родился из смутного, двоящегося ощущения, что Ницше прав, а Вагнер неотразим. Только что Ницше Вагнеру противопоставил: «Кармен», прелестный пустячок, солнце как-то слишком простодушно-фольклорно воспринятое, — не оглянувшись, чтобы вызвать на помощь Моцарта, солнце

истинное, не нуждающееся в испанских облачениях! Символизм в лучшем, что он создал, уже догадывался, что Вагнер — действительно «старый фальшивомонетчик», и все же не в силах был не поддаться его наваждениям. Но у символистов еще были на счет этого иллюзии... А теперь мы всем существом своим чувствуем, что Вагнер — «не то». Усилье воли не может заменить «того»: как в сказке, старый, злой, могучий волшебник в конце концов разоблачен. Туман прорван, — за ним ничего нет: пустота, пустое, мертвое, белое небо, и мы с удивлением глядим теперь на отцов, которые были чуть-чуть слишком доверчивы.

Кто это «мы»? — слышится мне вопрос. Если под любопытством кроется ехидство, втихомолку уже радующееся, что удалось подставить ловушку, не стоит и отвечать. Ловушка в случае надобности найдется и другая, за ней третья, и последнее слово останется в конце концов за тем, кому спорт этот доставляет удовольствие. А если ответить честно, надо бы сказать: не знаю точно. «Мы» — три-четыре человека, еще бывшие петербуржцами в то время, когда в Петербурге умер Блок, позднее обосновавшиеся в Париже; несколько парижан младших, иного происхождения, у которых с первоначальными «нами» нашелся общий язык; несколько друзей географически далеких, словом то, что возникло в русской поэзии вокруг «оси» Петербург—Париж, если воспользоваться терминологией недавнего военного времени... Иногда это теперь определяется как парижская «нота». К этой «ноте» я имел довольно близкое отношение, и так как она сейчас уже почти не слышна, хочется подвести итоги всему,

что входило в ее состав. К тому же времена теперь настают другие, с другими нетерпеливыми голосами, со вниманием и слухом к другим повыивам. Пора, значит, сделать подсчет и переключку тем, кто остался, а среди них — как знать? — найдутся может быть и незнакомцы, уже не второго, а третьего возрастного призыва: отзовутся ли они на ауканье? Или надеяться остается лишь на то, что придет много позже, после «лопуха»? Или обманет даже и это?

В Париже не все сложилось сразу, беспрепятственно, и общего сотрудничества на первых порах не было. В петербургские трагические воспоминания вплетались остатки гумилевской, цеховой выучки, очень наивной, если говорить о сущности поэзии, очень полезной, если ограничиться областью ремесла. Кто был рядом? Ходасевич, принципиально хмурившийся, напоминавший о Пушкине и о грамотности, «верно, но неинтересно», как отзывался на его наставления Поплавский. Был воскресный салон Мережковских, с Зинаидой Николаевной, которая понимала в поэзии все, кроме самих стихов... здесь однако сделаем короткую остановку: если уж названо ее имя, поклонимся памяти Зинаиды Гиппиус, «единственной» по аттестации Блока! Что было в ней дорого? Не капризно-декадентский разговор, извивавшийся как дымок ее папироски, не разнородно-приперченные ее «штучки» и «словечки», не то даже, что она писала, а то, чем она была наедине с собой или вдвоем, с глазу на глаз, без аудитории, для которой надо было играть роль: человек с редчайшими антеннами, мало творческий, если сказать правду, но с глубокой тоской о творчестве, позволившей ей с полуслова догадываться о том, что в полные слова и не уложилось бы. Была еще Марина Цветаева, с которой у нас что-то с самого начала не клеилось, да так и не

склеилось, трудно сказать по чьей вине. Цветаева была москвичкой, с вызовом петербургскому стилю в каждом движении и каждом слове: настроить нашу «ноту» в лад ей было невозможно иначе, как исказив ее. А что были в цветаевских стихах несравненные строчки, — кто же это отрицал? «Как некий херувим . . .», без всякого преувеличения. Но взять у нее было нечего. Цветаева была несомненно очень умна, однако слишком демонстративно умна, слишком по своему умна, — едва ли не признак слабости, — и с постоянными «заскоками». Была в ней вечная институтка, «княжна Джаваха», с «гордо закинутой головкой», разумеется «русой», или еще лучше «золотистой», с воображаемой толпой юных поклонников вокруг: нет, нам это не нравилось! Было в ней повидимому и что-то другое, очень горестное: к сожалению оно осталось нам неизвестно.

Пребывание во Франции не могло не возбудить колебаний, особенно на первых порах. Одно дело — читать иностранные книги, сидя у себя дома, другое — оказаться лицом к лицу с тем, что книги эти питает, одушевляет и оправдывает.

Нас смутили резкие различия между устремлениями нашими и французскими, различья и формальные, и волевые. Как бы ни была в основной сущности своей литература французская чужда литературе русской, Франция в наших глазах полностью сохраняла свой престиж, тем более, что в передовых петербургских эстетических кружках о ней и не говорили иначе, как в тоне грибоедовских княжен: «нет в мире лучше края». Нашлись и в эмиграции люди, у которых в Париже за-

кружились головы, и захлебываясь они толковали о местных ошеломляющих поэтических открытиях и достижениях, вплоть до рифмованных анекдотов Жака Превера (впрочем, даже и не рифмованных). Для них, разумеется, мы были отсталыми провинциалами.

О Превере говорить всерьез не стоит, к слову пришлось, я его и назвал. Но бесспорно, французская поэзия, даже в теперешнем состоянии, — явление замечательное и значительное, и действительно лишь отсталый провинциал способен это отрицать. Не впадая, однако, ни в западническое раболепие, ни вславянофильское бахвальство, следует сказать, что поэзии русской — если не склонна она отречься от самой себя, — у нее почти нечему учиться, отчасти потому, что культурный возраст наш другой, отчасти по причинам внутренним.

Во Франции, да и вообще на Западе, поэзия давно уже отказалась от надежд и от веры, не в каком-либо религиозном значении слова, а в другом, впрочем почти столь же основном и глубоком, — что и толкает некоторых поэтов к «ангажированию», ко «включению» в текущие, преимущественно политические заботы: все что угодно лучше в их ощущении, нежели игра без цели и смысла. Поэзия во Франции более или менее откровенно ставит знак равенства между собой и мечтанием, и особенно это стало ясно у Маллармэ, со всеми его последователями: „le rêve“ — слово — ключ к его творчеству. Но мечта никуда не ведет, кроме разбитого корыта в конце каких угодно феерических блужданий, и вопроса: только и всего? — после исчезновения обольщений. Вероятно именно поэтому французская поэзия легко отбросила логический ход речи, предпочитая развитие стихотворения по ассоциации образов или даже еще более причудливым законам: ей при этом не

приходилось отбрасывать что-либо другое, бесконечно более существенное, чем тот или иной литературный прием. Имеет, правда, значение и то, что Франция, отечество рационализма, от разума и рассудочности устала: слишком долго она ничего, кроме разума не признавала, и когда при его же благосклонном посредничестве стали обнаруживаться его границы, она не без злорадства попросила обанкротившегося зазнайку удалиться из области, где ему действительно нечего было делать. „Des roses sur le néant“, то есть закроем глаза, глядеть в лицо истине слишком страшно. Да и «что есть истина?»

Для русской поэзии вопрос этот — об истине — существовал тоже, существовал всегда. Но он не имел в ней позднеримского, насмешливо-скептического оттенка. У Блока, например, все обращено к тому, чтобы неуловимую эту «истину» уловить, и из поэзии сделать важнейшее человеческое дело, привести ее к великому торжеству: к тому, что символисты называли «преображением мира». Да, слово призрачно, он больше обещает, чем способен дать, и я не уверен, что «преображение мира» вообще что-либо значит. Но при зыбкости цели, показательно было стремление: не загонять поэзию в тупик «снов золотых», бесконтрольно и беспрепятственно «навеваемых», не искать для нее развода с жизнью после не совсем благополучного брака, а доделать то, чего сделать не удалось, без отступничества и уж конечно без сладковатого хлороформа. Это корень и сущность всего. Разум, конечно, ограничен, конечно, беден, но как же им пренебречь, раз это все-таки одно из важнейших наших орудий, да еще в важнейшем деле, требующем всех сил? Да и что это за поэзия, которая опасается, как бы что-нибудь, Боже упаси, не повредило ее поэтичности! Все, что в поэзии может быть

уничтожено, должно быть уничтожено: ценно лишь то, что уцелеет. Мечта? Но Блок не хотел мечтать, он занят был делом, которое не казалось ему а priori безнадежным. Он не бывал темен искусственно, умышленно, по примеру Маллармэ. Он бывал темен лишь тогда, когда не в силах был перевести на внятный язык то, что хотел бы внятно сказать, и когда будто бился головой о стену своего «несказанного»... А мы, с акмеизмом и цехом в багаже, мы все-таки чувствовали, что не Гумилев — наш учитель и вожатый, а он. Гумилев, чрезвычайно любивший все французское, вероятно пошел бы на разрыв поэзии с логической последовательностью речи: в самом деле, новый литературный прием, новые, в сущности беспредельные, горизонты, — отчего же не попробовать? Он вел свою родословную от Теофиля Готье, но и Готье, живи он в наше время, оказался бы вероятно в отношении его веяний покладист: вопрос школы, вкусов, литературной моды, ничего общего не имеющих с тем, что оказалось бы препятствием для Блока.

Кстати, о Блоке... У нас вовсе не было беспрекословного перед ним преклонения, наоборот была — и до сих пор остается, — критика, было даже отталкивание: однако исключительно в области стилистики, вообще в области ремесла, и главным образом при мысли о той «воде», которой разжижены многие блоковские стихи. Но если ценить в поэзии напев, ритм, интонацию, то по этой части во всей русской литературе соперника у Блока нет. Критиковать можно было сколько угодно, но критика становилась смешна и смердяковски-низменна, едва только в ответ ей звучали отдельные «за сердце хватающие» блоковские строчки. У Цветаевой это чувство чудесно выражено в том чудесном ее, обращенном к Блоку, бормотании, где «во

имя его святое» она «опускается на колени в снег» и «целует вечерний снег», не зная в душевном смятении, что делать и что сказать.

Другое имя, может быть менее «святое», но не менее магическое — Анненский. Во французском нашем смущении его роль была не ясна, и казался он иногда перебежчиком в чуждый лагерь (не враждебный, а именно чуждый), — вопреки всему тому русскому, что в его бессмертных стихах звучит. У Анненского надежд нет: огни догорели, цветы облетели. У Анненского в противоположность Блоку поэзия иногда превращается в ребусы, даже в таком стихотворении, как «О, нет, не стан . . .», с его удивительной, ничем не подготовленной последней строфой. Но Анненский — это даже не пятый акт человеческой драмы, а растерянный шепот перед спустившимся занавесом, когда остается только идти домой, а дома в сущности никакого нет.

Вероятно судьба русской поэзии в эмиграции, — по крайней мере парижской ее «ноты», — была бы иной, если бы иначе сложились исторические условия. Вероятно эта злополучная, мало кого из современников прельстившая «нота» была бы громче, ярче, счастливее, увлекательнее, не одушевляй и не связывай нас сознание, что «теперь» или «никогда» . . . А при такой альтернативе дело почти всегда решается в пользу «никогда», о чем мы не сразу догадались.

Будь все по другому, возникла бы вероятно новая поэтическая школа или полу-школа. В журналах толковали бы о ее лозунгах и декларациях. Как водится, мы вели бы словесные сражения с противниками, на-

стаивающими на правоте своих приемов, своих взглядов. Все было бы как обычно, «как у людей», к удовлетворению литературных поручиков Бергов. Нам самим порой становилось скучновато без прежних литературных развлечений, и случалось, мы спрашивали себя: а не выдумать ли какой-нибудь новый «изм»? Как же в самом деле без «изма»?

Но для развлечений было неподходящее время, неподходящая была и обстановка. В первый раз — по крайней мере на русской памяти, — человек оказался полностью предоставленным самому себе, вне тех разносторонних связей, которые с одной стороны обеспечивают уверенность в завтрашнем дне, а с другой — отвлекают от мыслей и недоумений коренных, «проклятых». Впервые движение прервалось: была остановка, при том без декораций, бесследно разлетевшихся под «историческими бурями». Впервые вопрос «зачем»? — сделался нашей повседневной реальностью, без того, чтобы могло что-нибудь его заслонить. Зачем? Не за чем писать стихи, — нет, на сделки с сознанием мы все-таки шли, иначе нельзя было бы и жить, — а зачем писать стихи так-то и о том-то, когда надо бы в них «просиять и погаснуть», найти единственно-важные слова, окончательные, никакой серной кислотой не разъедаемые, без всех тех приблизительных удач, которыми довольствовалась поэзия в прошлом, но с золотыми нитями, которыми она бывала прорезана, с памятью о былых редких видениях, с верностью, без предательства, наоборот с удесyтеренным чувством ответственности, — ибо в самом деле, как же было этого не чувствовать, когда остался человек лицом к лицу с судьбой, без посредников: теперь или никогда!

Нам говорили, «с того берега», из московских духовных предместий, географически с Москвой не связан-

ных: вы — в безвоздушном пространстве, и чем теснее вы в себе замыкаетесь, тем конец ваш ближе. Спорить было не к чему, не нашлось бы общего языка. Вашего «всего», — следовало бы сказать, — мы и не хотим, предпочитая остаться «ни с чем». Наше «все» может быть и недостижимо, но если есть в наше время... да, именно «в наше время, когда», только без вашего постылого окончания этой фразы... если есть одна миллионная вероятность до него договориться, рискнем, сделаем на это ставку! Если будущее и взыщет с нас, найдется по крайней мере у нас оправдание в том, что предпочли мы риск почти безнадежной игре осматрительной, позволяющей при успехе составить скромный капиталец...

Конечно, чуда не произошло.

Нам в конце концов пришлось расплачиваться за мираж поэзии абсолютной, — или поэзии абсолютного, — ускользающей по мере кажущегося к ней приближения. Понятие абсолютного по самой природе своей исключает возможность выбора: тематического, стилистического, всякого другого. Нечего выбирать и взвешивать, если найдены, наконец, незаменимые слова, действительно «лучшие в лучшем порядке», по Кольриджу. Выбор им не мог бы даже и предшествовать, им предшествовало бы только ожидание, напряжение воли, слепящая боль от нестерпимого света... А на деле бывало так: слово за словом, в сторону, в сторону, не то, не о том, даже не выбор, а отказ от всякого случайного, всякого произвольного предпочтения, без которого нет творчества, но которое все-таки искажает его «идею» в платоновском смысле, не то, нет, в сторону, в сторону, с постепенно слабеющей надеждой что-либо найти, и в конце концов — ничего, пустые руки, к вящему торжеству тех, кто

это предсказывал. Но и с дымной горечью в памяти, будто после пожара, о котором не знают и не догадываются предсказатели.

Было быть может не очень много сил. По своему может быть были правы те, кто утверждал, что подлинных несомненных поэтов в парижской группе раз два и обчелся, а остальные — только какие-то нео-нытики, аккуратно перекладывающие в пятистопные ямбы — (пятистопные ямбы, мало-помалу оттеснившие в русской поэзии ямб четырехстопный, и не потому, что бы четырехстопный ямб просто «надоел», как Пушкину: нет, удлинение строки — факт едва ли не случайный, ему можно бы найти и объяснение, и основание) — свои скучные мысли и чувства. Допустим, согласимся, как соглашались с рабочей гипотезой, даже и не считая ее вполне верной. Однако некоторая тусклость красок, некоторая приглушенность тона и общая настороженная, притихшая сдержанность той поэзии, которая к парижской «ноте» примыкала, нарочитая ее серость, были в нашем представлении необходимостью, неизбежностью, обратной стороны медали поэтического максимализма, ценой, в которую обходилась верность «всему или ничему». Никчемной казалась поэзия, в которой было бы и ребенку ясно, почему она считается поэзией: вот образы, вот аллитерации, вот редкое сравнение и прочие атрибуты условной художественности! Все в поэзии, — говорили нам слева, — рождается из слов, из словосочетаний: «слово, как таковое» — и прочие прописи. Да, бесспорно! Но к чёрту поэзию, в которой можно определить, из чего она родилась, скучно этим делом заниматься, не стоит с этим делом связы-

вать жизнь, — лучше поступить служащим в какую-нибудь контору или по вечно-памятному, великому, загадочному примеру отправиться в Абиссинию торговать лошадьми. По крайней мере знаешь, в чем работа, да и не даром работаешь. От поэзии с украшениями, новыми или старыми, нас мутило, как от виньеток на обложке и на полях, как от эстрадной декламации. Поэзия и проза — чувствовали мы, — глубоко различны, но различны по существу, вовсе не по наряду: от поэзии, озабоченной тем, как бы ее с прозой не спутали, жеманничающей под Щепкину-Куперник или под Маяковского, от поэзии расфранченной, расфуфыренной, от поэзии „endimanchée“ хотелось бежать без оглядки! Нам смешно и досадно было читать иные словесные фейерверки, с головокружительными рифмами, с умопомрачительными метафорами, с распустившимися, как павлиний хвост, ребяческим или дикарским вдохновением, — да, смешно и досадно, тем более, что сопровождалось это большей частью претензией на исключительное представительство современной поэзии! Бывало, перелистывая иной сборник, мы спрашивали себя: талантливые ли это стихи? Да, очень талантливые. А что, могу ли я так написать? Не знаю, не пробовал . . . может быть и не могу. Но мало ли чего я не могу? Не могу, например, быть цирковым акробатом, не могу быть опереточным премьером, не могу и *не хочу*. Меня это не интересует. По той же причине, — то есть как чуждое мне дело, — не интересует меня и сочинение стихов, в которых самодовлеющая словесная изобретательность не контролируется памятью о поэтическом видении и не может быть оправдана иначе, как его отсутствием.

Два слова еще о мысли, «во избежание недоразумений». Напомнив о том, что Блок, — у которого инстинкт художнической совести был острее инстинкта художественного, — отказался от разрыва с логикой, я не имел, конечно, в виду какого-либо рационализиро-

вания поэзии. Нет, вопрос сложнее, противоречивее, чем был бы при такой постановке — да и кто же, не потеряв к поэтическому слову слуха, стал бы настаивать, чтобы стихотворение строилось, как научный трактат или речь в парламенте? Острые вопроса в том, что поэзия, — как по Апостолу совершенная любовь, — «изгоняет страх»: поэт не может мысли бояться, не может в себе бояться вообще ничего. Иначе творчество превращается в баловство, — как было баловством повальное увлечение сюрреалистов так называемым «автоматическим письмом», рассчитанным на какие-то фрейдистские откровения. В поэзии надо помнить, что о многом следует забыть.

Одним из открытий наших, — которое заслуживает названия открытия, конечно, только в личном плане, никак не в общем историко-литературном значении, — было то, что стихи можно в сущности писать как угодно, то есть как кому хочется. От школ, от метода, от «измов» колебания и изменения происходят лишь такие, которые напоминают рябь на поверхности реки: течение, ленивое или сильное, глубокое или мелкое, остается таким же, как было бы при полной тишине или сильной буре. Чутье — если оно есть, — подсказывает метод верный, то есть соответствующий тому, что каждый поэт в отдельности хочет выразить. Но и только. Мучительная развязность почти всей футуристической поэзии, — как бы морально «подбочившейся», — свидетельствует о каких-то подозрительных внутренних сдвигах, — беда именно в этом! Против самого метода возражений основных, коренных, неустранимых нет.

Отсюда — рукой подать до открытия второго, неизмеримо более значительного, но оставшегося смутной, невысказаной догадкой, очевидно «чтоб можно было

жить»: стихи нельзя писать никак... Настоящих стихов нет, все наши самые любимые стихи «приблизительны», и лучшее, что человеком написано, прельщает лишь лунными отсветами неизвестно где затерявшегося солнца.

Догадка, впрочем, бывала иногда высказана, в очень осторожной форме, хотя и с надеждой, что отклик должен бы найтись. Как водится, в ответ раздавалось главным образом хихиканье: «сноб», «выскачка», «не знает, что еще выдумать», «Пушкин, видите ли, для него плох», «Пушкин приблизителен», — и так далее.

О Пушкине, кстати, — и вопреки досужим упрекам со стороны, — никогда вероятно так много не думали, как в тридцатых годах двадцатого века в Париже. Но не случайно в противовес ему было выдвинуто имя Лермонтова, не то, чтобы с большим литературным пиететом или восхищением, нет, но с большей кровной заинтересованностью, с большим трепетом, если воспользоваться этим не плохим, но испорченным словом... Пушкин и Лермонтов: вечная русская тема, с гимназической скамьи до гроба. В последние месяцы и недели своей жизни к теме этой все возвращался Бунин и утверждал, что Лермонтов в зрелости «забил бы» Пушкина. У меня до сих пор звучит в ушах фраза, которую Бунин настойчиво повторял: «он забил... забил бы его». Не думаю однако, чтобы это было верно. В прозе пожалуй: поскольку речь о прозе, можно даже обойтись без сослагательного наклонения и признать, что лермонтовская проза богаче и гибче пушкинской, и при том «благоуханнее», как признал это еще Гоголь. Но не в стихах. Здесь, в своей сфере, Пушкин, конечно, — художник более совершенный, и даже последние, поздние, почти зрелые лермонтовские стихи, — хотя бы та «Чинара», которая приводила в восхищение Бунина, — неизменно уступают стихам пушкинским в точности, в пластичности, в непринужденности, в той прохладной царственной бледности, которая роднит Пуш-

кина с греками. А так называемый «кованный» стих Лермонтова — большей частью сплошная риторика... Нет, в области приближения к совершенству Лермонтов от Пушкина отстает и едва ли его когда-нибудь нагнал бы. Но у Лермонтова есть ощущение и ожидание чуда, которого у Пушкина нет. У Лермонтова есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах был бы сказать. Он писал стихи хуже Пушкина, но при меньших удачах, его стихи ближе к тому, чтобы действительно стать отражением «пламя и света». Это трудно объяснить, это невозможно убедительно доказать, но общее впечатление такое, будто в лермонтовской поэзии незримо присутствует вечность, а черное, с отливами глубокой, бездонной синевы небо, «торжественное и чудное» служит ей фоном.

Оттого о Лермонтове как-то по особому и вспомнили в годы, о которых я говорю. Не все в нем вспомнили, нет, и не всего, — а те его строки, в которых разбег и стремление слишком много несут в себе смысла, чтобы не оборваться в бессмыслицу или в риторическую трясину: например, удивительное, непорочно-чистое, «как поцелуй ребенка» начало «Паруса», с грубо размалеванным его концом, или «Из-под таинственной холодной полумаски...», — строчка из которой вышел Блок, — с совершенно невозможными «глазками» тут же, — и другое.

Был кроме того в поэзии Лермонтова трагически-дружественный тон, — тоже как у Блока, но мужественнее и тверже, чем у Блока: на него отклик возникает сам собой. Оправдания поэтической катастрофы, которая не катастрофой быть не соглашалась, искать больше было негде. А как бы мы сами себя ни уверяли в противоположном, оправдание было нам нужно, — и во всяком случае нужен был в классическом прошлом голос, который больше других казался обращенным к нашему настоящему.

Мелькает мысль: да, прекрасно, Лермонтов, а к нему в придачу какие-то вагнеровские, похожие на сон, воспоминания, какие-то волшебные цели, безнадежно-изнурительные порывы, с величественной финальной катастрофой, — а что на деле? Стихи, как стихи: то хорошие, то слабоватые — о любви, о природе, о скуке, об одиночестве, о смерти, об ангелах, о парижском городском пейзаже. Где в них отражение этих метафизических надежд и падений?

Возражение я делаю самому себе — главным образом потому, что не сомневаюсь: было бы оно сделано и извне. В этом возражении есть доля правды. Но подумаем: могло ли все быть по другому? Были возможны изменения и колебания лишь в литературных, материальных качествах здешней поэзии, в размерах дарований и в уровне мастерства. Но не возможна была ее общая «однотонность», ее непрерывная, неизменная обращенность к единой теме, ее рыцарское служение лишь одной Прекрасной Даме без всякого поглядывания по сторонам. Все мы хорошо знаем, как слаб и рассеян человек. Даже храня где-то в глубине памяти представление о «самом важном», — как любила говорить Гиппиус, — тянет иногда слабости своей поддаться и сочинить стихи, «стишки» без всякой связи с подобными представлениями, именно о любви или о цветах. Иначе можно ли было бы жить? Подвижников и героев на свете мало, а поэт бывает «меж детей ничтожных мира всех ничтожней», порой даже и тогда, когда Аполлон его к очередной, более или менее священной, жертве требует. Неужели у всех нас, — и вовсе не в поэзии только, а во всем нашем существовании, — слова и дела так строго согласованы, что пришлось бы удивляться перебоям или случайному отступничеству? Неужели жизнь проходит по стройному, твердо установленному плану?

Думаю, что «нота» все-таки звучала — и прозвучала не совсем напрасно. Случайности в ее чертах было

меньше всего, и то, что ее особенности оказались во внутреннем, скрытом от посторонних глаз, согласии с историческими условиями, это подтверждает. Надо было все «самое важное» из прошлого как бы собрать в комок и бросить в будущее, отказавшись от лишнего груза. Нельзя было — и в те редкие минуты, когда Аполлон оказывался действительно требовательным, — привычными пустяками заниматься. Память подсказывает мне, что были и другие побуждения, другие толчки изнутри, вызвавшие тягу к поэзии, которая «просияла и погасла» бы. А Некрасов, по новому прочитанный, противоядие от брезгливо-эстетической щепетильности? А неотвязное понятие творческой честности, не в каком-либо шестидесятническом смысле, а как постоянная самопроверка, как антибальмонтовщина, с отвращением ко всякой сказочности и всякой экзотике, с вопросом: кто поверит словам, которым не совсем верю я сам? — и прямой дорогой от него к пустой, белой странице?.. Но обо всем не скажешь и не расскажешь.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЭЗИИ

Самое трудное — начать: как начать, с чего? Случается иногда завидовать людям «одной мысли», тем, которым это затруднение неведомо, да еще тем, кого не смущают слова стереотипно-газетные, стертые, одно с другим склеившиеся в готовые фразы, тем, кто берет перо и пишет:

«В настоящей работе я поставил себе задачай...» — и дальше, без помарок, в час или два, с этой «задачей» справляется: статья готова, хоть отдавай ее в печать. Так писал, например, Бердяев. Отчасти это ему помогло стать «Бердяевым», то есть фигурой, авторитетом, знаменитостью, — потому, что иначе, при большей словесной взыскательности, он не мог бы написать и половины своих книг. Есть однако что-то тягостное в книгах Бердяева. У него были мысли, много мыслей, щедрых, грубовато-добротных, чуть-чуть элементарных, — по сравнению, хотя бы, с мыслями Федотова, зато более прочных, чем у Федотова, — но у него не было сомнений, и стилистически это особенно ощутительно. Бердяев был однодумом: не в течение всей жизни однодум, не однодум *en grand*, как, например, Толстой, а однодумом в каждую отдельную минуту. Он видел идею, но не видел бесчисленных контр-идеек, брызгами возникающих тут же, будто от брошенного в

воду камня (ценнейшее свойство в политике, пожалуй даже во всякой деятельности, но не в литературе, которая ссыхается и скудеет, приближаясь к деятельности, — кроме самых вершин, где все сплавлено).

К названию — «Невозможность поэзии» — нужен бы подзаголовок. Что-нибудь незамысловатое, вроде «из дневника», или «из писем к Иксу», хотя всякому ясно, что никакого Икса на свете не было и нет. Хорошо было бы добавить «Для немногих», как у Жуковского, если бы в иных, чем у Жуковского, условиях это не было претенциозно. В самом деле — «для немногих»: я и немногие, я сам, изволите ли видеть, из немногих! «Мы с вами одни понимаем», «мы — избранные, посвященные, особенные», «*nous autres, les безумцы*», как смеясь сказал однажды Поплавский, редкий, незабываемый умница. Нет, «Для немногих» не годится, и суть-то, пожалуй ведь и не в том, что написанное обращено к ним. Суть в другом. У Анненского, в одной из его «Книг отражений», есть несколько строк о человеке, который давно стоит в хвосте у кассы, малопомалу продвигается вперед и уже близок к заветному окошечку. Билеты в кассе выдаются специальные, не для входа в мир, а для выхода из него, то есть такие, которые вернуть Богу, по карамазовскому примеру, невозможно, как бы этого ни хотелось... У Анненского это очень убедительно изображено, с особой его вкрадчиво-ядовитой настойчивостью, и подошло бы к размышлениям о поэзии, как нельзя лучше.

Подошло бы потому, что человеку, который в сущности только то и делал, что писал или думал о поэзии, хочется наконец «подвести итоги». Договорить, договориться. Одно было сказано впустую, другое — настолько мимо, для красного словца, что стыдно перечитывать, тут я поторопился, напутал, там по легкомыслию

повторил без проверки то, что слышал от Ходасевича или от Зинаиды Гиппиус, — и так далее. «Итог», что же обольщаться, скуден, а окошечко-то ведь недалеко, и впереди, над плечами стоящих в очереди, уже мелькает склоненное лицо кассирши, видно, как один за другим, улыбаясь или хмурясь, отрывает она билетик. «Пора, мой друг, пора». Поговорим же о поэзии всерьез, может быть в первый и, как знать, пожалуй в последний раз в жизни.

Не размахнуться бы однако Хлестаковым, по гоголевскому признанию о самом себе: контр-соображении, разумеется, тут как тут! Да и где бы оказалось оно уместнее?

Человек создан по образу и подобию Божьему.

Кому принадлежат эти слова? Имени мы не знаем. Но это, конечно, одна из глубочайших мыслей, которые когда-либо были высказаны, одна из самых благородных и важных, одна из тех, от которых нельзя отречься, пока не стали мы для самих себя предателями. Доиграетесь! — хочется сказать туда, в Россию, где под предлогом борьбы с предрассудками и невежеством насаждается тупая беззаботность по части всего, что отличает людей от машин и животных.

Человек создан по образу и подобию Божьему. Никто теперь не истолкует этих слов физически, материально, и не решит, что если у нас есть руки и ноги, то значит, должны они быть и у Бога. Но именно потому, что это истолкование навсегда оставлено, смысл слов, очищенный, углубленный, открывается во всем своем

значении. В сущности это кантовский «нравственный закон внутри нас», великое, второе, рядом со «звездным небом над нами», мировое чудо, — хотя едва ли в одной нравственности тут дело. Или понятие нравственности должно быть расширено до включения в него чувства эстетического? Очень возможно, что так, и вероятно именно этим и объясняется, что всякие демонизмы, чародейства и соблазны рано или поздно отталкивают, как пустые, постылые выдумки. Ложь ведь повсюду — ложь, во всех областях, и должна где-нибудь существовать ложь единая, объединительная, Ложь с большой буквы, как существует же где-нибудь — где? — единая Истина. И в нас это отражено.

Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, неговорчивого, окончательного, неустранимого, после того, как перестал он играть с собой в прятки, все, что мы называем совестью, во всех смыслах, даже и в эстетическом, и что в нас большей частью дремлет, — а если, случается, и очнется, то наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова, — все это и есть «образ и подобие». Для верующих объяснение сравнительно просто: «то, чего я хочу, — но именно по настоящему хочу, всем сердцем хочу, и никак не для самого себя, не эгоистически хочу, — того хочет Бог. Это Он вложил в меня подобную себе душу, Он наделил каждого из людей частицей своих стремлений, своих оценок. У меня с Ним одинаковая сущность, и разница лишь в масштабах, да еще в том, что Он вероятно знает, почему назвал добро добром, а зло злом, я же бреду наощупь, как слепой, не видя ни направления, ни конечных целей». Так скажут верующие. Ну, а у других, у тех, кто в сотрудничестве своем с Провидением не вполне уверен, остается чувство, что коренные их по-

буждения чему-то все-таки отвечают во вне и с чем-то во вне согласованы. Даже если и не стекаются эти побуждения по радиусам бесчисленных отдельных сознаний в единый центр, то радиусы не совсем разнородны, и это исключает случайность.

Я знаю, конечно, что едва начав говорить об этом, отваживаясь в метафизические дебри, вдоль и поперек исхоженные, многими мудрецами исследованные, хотя и без желанного результата. Да и при чем тут поэзия? — пожалуй скажут мне.

Ответить хотелось бы, что не только «при чем-то», а «при всем». От «образа и подобия», — даже если это не догмат, а только предположение, рабочая гипотеза, — к поэзии прямая нить. Но не к тому, конечно, что большей частью за поэзию выдается и ею считается, а скорей к платоническому представлению и мечте о ней. Вот тут-то и запятая, — если еще раз вспомнить Карамазова: тут-то и обнаруживается невозможность ее! Надо однако немедленно добавить, пояснить: не невозможность писания хороших, прекрасных, замечательных стихотворений, — что в редких случаях некоторым людям еще удастся, — а невозможность продолжения, невозможность метода, школы и развития.

Поэзия есть лучшее, что человек может дать, лучшее, что он может сказать. Иначе, действительно, как утверждают иные почтенные и по своему вовсе не глупые люди, смешно было бы выстукивать размеры и, покусывая карандаш, искать, с чем можно было бы срифмовать, например, нежность, кроме непристойно истрепавшейся, готовой к любым услугам безнадежности. Самая условность и ограниченность поэтических средств обязывает к тому, чтобы лег на целое отблеск безграничности и безусловности.

«Лучшие слова в лучшем порядке». Кольриджевскому определению поэзии у нас повезло, с легкой руки Гумилева, которому формула эта чрезвычайно нравилась. Не помню, не знаю, скажу откровенно, какой

смысл вложил в нее сам Кольридж, — но едва ли тот, который вкладывал Гумилев, а за ним и другие молодые авторы: едва ли смысл чисто формальный, в духе Буало, советовавшего, как известно, «полировать» стих без устали. К лучшему «порядку» это, пожалуй, и могло бы отнестись, — но что значит «лучшие слова»? Что могут они значить, кроме того, что в поэзии недопустимы: обман, притворство, поза, кокетство, фокусничанье, комедианство, самолюбование, развязность, баловство, ходули... о, список того, что на смерть враждебно поэзии мог бы занять несколько страниц! Недопустимо то, что наверно не от «образа и подобия» и за что «образ и подобие» не может принять ответственности. Наедине с собой человеку не трудно в себя всмотреться, и конечно, поэт всегда знает, нашел ли он действительно «лучшие слова» — то есть лучшие для него, в данном его состоянии, вовсе не безотносительно «хорошие», «красивые», «поэтические», — или увлекся соображениями посторонними, вплоть до предвкушения читательского восторга от какого-нибудь идиотски-новаторского литературного выверта.

Но необходимо предостережение: может показаться, что требование «лучших слов» есть нечто вроде совета писать стихи по Вячеславу-Ивановскому образцу, то есть стихи торжественные, велеречивые, парящие в заоблачных высях. Ни в коем случае! И не думаю, чтобы Пушкин, когда указывал на «служение, алтарь и жертвоприношение», как на сущность творчества, имел что-либо подобное в виду. Нет, вся его поэзия этому противоречит. Однако о жертве упомянул он все-таки не напрасно, и образ этот, понятый, как нужно, точен и верен: в поэзии человек возвращает на «алтарь» лучшее, что он получил, приносит некий дар, может быть и бедный, но чистый, полностью свой. В поэзии нельзя мошенничать, как нельзя — ибо слишком уж бессмысленно! — бросив в церковный ящик пятак, поставить перед иконой свечу в рубль... Вот ведь в чем дело.

По Вячеславу Иванову только рублевые свечи и допустимы, но он забыл, что у людей в кармане всего только медяки. Да и те наперечет.

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Да, может быть. Но это как-то слишком расплывчато сказано, и «лучшие слова в лучшем порядке» в самой сухости своей предпочтительнее. А кроме того, — замечу мимоходом, — для меня лично эти «святые мечты» навсегда отравлены воспоминанием о статейке, которую благодушно-благочестивый автор, прелестный, хотя и несколько анемичный поэт, счел возможным написать о смертной казни: мерзость в нашей классической литературе беспримерная.

Движение, развитие, а тем более «новаторство» в поэзии сопряжено с некоторой долей суетности и с отклонением от всего того, что можно бы назвать поэтической идеей в платоновском смысле.

Движение, — как это на первый взгляд ни удивительно, — рассеивает мысли, разжижает чувство, при том сразу, с первых же шагов, и в конце концов приводит к отступничеству.

Что же поэту делать? Топтаться на месте? Удовольствоваться стилизацией под классиков? Двенадцать гладеньких строк, четырехстопный ямб, любовь и кровь? Нет, это не решение, не выход. Выход найти трудно. В прошлом движение было, иначе нам теперь не на чем было бы и «топтаться». Исторически понятие движения, развития неопровержимо, и законность его как будто — вне сомнений. Но очевидно не все времена в этом отношении одинаковы, и сейчас приходится перефразировать знаменитое леонтьевское изречение: «надо поэзию подморозить, чтобы она не сгнила».

Это пожалуй *наше* открытие, и обязаны мы им не особой нашей прозорливости, а только тому, что оказа-

лись волею судеб в особом, небывалом положении, да еще в эпоху, когда новизна во что бы то ни стало сделалась чуть ли не лозунгом иных влиятельнейших художников. Нашим историческим уделом было созерцание в чистейшем, беспримесном виде, поскольку для деятельности, при не очень-то большой природной склонности к ней, не было поля, не было арены, — и оцепенев, остановившись исторически и общественно, мы кое-что разглядели такое, что от других ускользает. Гордиться этим было бы глупо. Радоваться тоже нет оснований. А меньше всего было бы оснований возводить в какой-то общеобязательный и постоянный принцип то, что открылось в порядке исключительном, как бы с глазу на глаз с судьбой, «на духу», не для разгласки. «Да здравствует победное шествие искусства к новым светлым горизонтам, да здравствует всяческое «вперед»! — склонны воскликнуть люди в положении исторически нормальном, пусть и находят они для своих стремлений выражения более изысканные, чем те, которые в насмешку привел я. Ну, что же, согласимся: да здравствует! Почему бы в самом деле искусству и не здравствовать? В наши дни восхваляется непрерывное обновление, непрерывное изменение манеры, и освящено это еще Бодлером, призывавшим «нырять вглубь неизвестности в поисках нового»: плохой, внутренне-плоский стих великого поэта. Итак, да здравствует! Но найдется пять-шесть человек, которые наверно скажут: этого своего неожиданного открытия не променяем мы ни на что, и никто никакими доводами, никакими ссылками ни на какие авторитеты не убедит нас, что оно — досадное следствие «эмигрантщины», результат утраты живых связей с действительностью, или попросту бессильно-снобическое брюзжание. Да, невольная историческая остановка, факт выхода из затянувшегося пребывания на сцене, откуда убраны было все бутафорское, роль свою сыграл. Но стоило, стоило, стоило растерять все, что удерживается в обыч-

ной исторической обстановке, чтобы в образовавшейся пустоте, будто в далекой узкой щели, блеснул свет... Ибо утверждение неосуществимости поэзии есть в конце концов великое ее прославление, поклон до земли, объяснение в вечной любви, пусть и в любви к призраку. Но призрак так хорош, что уловив его черты ни на что другое не захочешь смотреть. «Он имел одно видение»...

Запад и западная поэзия несомненно против нас, и весь западный поэтический опыт нас в этом смысле опровергает. Ни о какой «невозможности» на Западе речи нет, и в частности Франция, по утверждению некоторых ценителей, переживает сейчас такой поэтический расцвет, какого никогда и не знала.

Возразить на это особенно с русской точки зрения, следовало бы многое, — хотя бы, например, то, что в поэзии Запад нам не указ, что по глубокой нашей взаимной разнородности нам на Западе почти не у кого учиться, что у нас был Пушкин в те годы, когда во Франции блистал, сверкал и царил Виктор Гюго, а кто из них варвар, кто поэтический младенец, об этом и спорить смешно. Но даже оставаясь в границах местных, нам чуждых, можно было бы заметить, что теперешний «расцвет» вызван вероятно во Франции не столько буйством творческих сил, сколько упразднением всего, что еще недавно составляло формальную основу и ткань поэзии. Сейчас во французской поэзии «все позволено», и где начинается творчество, где кончается болтовня, не знает твердо никто. Недавний инцидент-западня, инцидент-ловушка с десятилетней девочкой-поэтом Мину Друэ в этом смысле достаточно показателен.

Конечно, по настоящему человек в силах и даже в праве судить только о стихах, написанных на его родном языке, в котором улавливает он и тона, и обертона. Конечно, иностранец должен быть осторожен в своих приговорах, особенно, когда речь идет о таком слож-

ном, многовековом явлении, как французская поэзия. Потому лишь в виде догадки, в виде предположения скажу, что по моему Ренэ Шар — подлинный и значительный поэт, а, например, Сен-Джон Пэрс, окруженный узким, тесным, но почти благоговейным культом, скорей мечтатель-декламатор, хоть и необыкновенно изощренный. Но об отдельных французских поэтах — только мимоходом, иначе не хватило бы и сотни страниц. К русской моей теме о «невозможности» они отношение имеют только возразительное, хотя у Шара кое-что родственное глухо и скрыто слышится, вопреки изобилию роскошных „images“, которыми восхищаются его поклонники-французы. Слышится «невозможность» и у Маллармэ, чем, вероятно, и должно быть объяснено, что линия его оборвалась, несмотря на усилия Поля Валери. Да к тому же Клодель (вместе с Гюго — самый анти-русский поэт, какие были на Западе) со своим безудержным словесным разливом создал иллюзию, будто всякое самоограничение, всякий отказ, а тем более тупик — могут быть внушены только бессилием.

У англичан есть Дилан Томас, в которого подлинно влюблена молодежь: поэт очень одаренный, духовнорасточительный, с отблеском Рембо, прельстивший даже Игоря Стравинского, который откликнулся на его раннюю смерть — „In memoriam Dylan Thomas“.

Но и пример Дилана Томаса не убедителен, он тоже — «мимо», «не о том».

Если поэзия вместе с жизнью, и как составная часть жизни, более или менее благополучно движется в общем потоке, если назначение ее в том, чтобы доставлять более или менее пряные, острые, неизведанные ощущения, отвлекать, радовать, утешать, торжествовать над повседневной скукой, если удачный, смелый образ, «имаж» оправдывает ее существование, то разумеется правы западные поэты — как по своему, в ог-

рубленном, безмятежно-дубовом своем состоянии правы и многие поэты советские, — а не правы мы.

Но вероятно дает себя знать русский максимализм: все или ничего. Если «всего» достичь нельзя, не хочу никаких промежуточных инстанций, выбираю «ничего», или почти «ничего», — потому, что какие-то крохи спасти все-таки удастся... Но в нищете своей не завидую псевдо-Крезам, даже дилан-томасовского обаятельного типа, и отказываюсь от совместных с ним игр.

Нет никаких возражений против новаторства, которое ограничилось бы изысканиями формальными, и беда исключительно в том, что в поэзии, — и нагляднее всего в русской поэзии, где несомненная столичность соседствует с неискоренимым миргородским захолустьем, — беда только в том, что в поэзии нововведения формальные обычно сочетаются с особой литературной позой, с вызовом, «заскоком». Теоретически это сочетание вовсе не обязательно, но на практике оно обнаруживается сразу, и наша матушка-Россия не упускает тут случая покрасоваться, блеснуть всем, что есть в ней смешного и жалкого (о чем с такой горечью писал в «Дыме» Тургенев).

В музыке искания к «заскоку» не ведут, во всяком случае не всегда ведут, — вероятно потому, что музыка по самой природе своей есть искусство абстрактное, а ее безнадежные стремления к программности, если в чем и выражаются, то преимущественно в названиях. Не берусь судить по музыкальному диллетантизму своему, о внутренних достоинствах того, что было сделано, например, Шенбергом и его последователями, но если основываться на всем, что об этой группе известно, — в частности об Антоне Веберне, повидимому самом значительном в ней человеке и художнике, — она пол-

ностью заслуживает внимания и уважения. Сейчас никто еще не знает, останется ли от нее долгий след в искусстве. Но бесспорно, это были люди творчески-взрослые, творчески-честные, требовательные, не дикари и не дети.

Переход к поэтам, в особенности к поэтам русским, довольно тягостен.

«Мне наплевать
на бронзы многопудие,
Мне наплевать
на мраморную слизь . . .»

Это — из Маяковского, из самого прославленного его стихотворения «Во весь голос». Во вступительной статье к лежащему передо мной собранию его сочинений восторженно и подобострастно указывается, что Маяковский «бесстрашно ломал установившиеся каноны», — а дальше следует лепет, столь знакомый, настолько примелькавшийся, что он даже не удивляет. Надо сделать усилие, чтобы очнуться, и очнувшись, спросить себя: что это такое, что это такое? Что это за вздор? Куда все идет?

Маяковский был чрезвычайно талантливым человеком и мог бы стать очень большим поэтом. Не думаю, чтобы после Некрасова у кого-либо в русских стихах явственнее звучали ноты трагические. В голосе Маяковского была медь, был закал, и хотя ранние его фиоритуры не совсем обходились без Несчастливцева, и ближе были к футуристической мелодраме, нежели к футуристическому Эсхилу, в дальнейшем, казалось, он должен был от сгущения красок освободиться. «Облако в штанах» было редким поэтическим обещанием. Но самое название поэмы, то есть характер этого названия, внутренний склад его, мог вызвать опасения, и опасения оказались оправданы.

Оставим «кроме как в Моссельпроме», поскольку сам Маяковский эти упражнения поэзией не считал. Но и то, что он считал поэзией, удручает: раз-

вязность, зычное похихатывание, отсутствие «словечка в простоте», хотя бы только одного словечка, непоколебимая уверенность, что в этом-то и сказывается прогресс искусства и ломка канонов, что эта ломка нужна, благотворна, что с ней поэзия триумфально идет вперед... Руки опускаются, а если пришлось бы возражать, убеждать, спорить, начать надо было бы с самых аздов: дважды два четыре.

Маяковский был прав в основном своем убеждении, что сто лет после смерти Пушкина нельзя писать стихи так же, как писал Пушкин. Но вместе с формальным выводом из положения бесспорного он наспех, кое-как, сделал вывод эмоциональный, учитывая мгновенный, глупый отклик, шум и успех, и не то что погубил себя, а дал в себе вырасти какому-то поэтико-демагогическому чудищу. Маяковский довел русскую поэзию до обрыва, почти до пропасти, хотя неизменно оставался блестяще находчив в словосочетаниях и всяких словесных ухищрениях. Отталкивают у него не средства, а цели. Почему бронзы «многопудие»? О, это «многопудие»! Отталкивает ведь не самый неологизм, а величаво-хамски-небрежная эмоциональная ее окраска, в сущности которой окончательно рассеивает сомнения дальнейшая «мраморная слизь». Эх, что вы там, вот мы, душа нарасташку, парень-рубаша, знай наших!

Иностранец «не поймет и не заметит», конечно, что за этим кроется. Иностранцу, даже взыскательному, это может понравиться. Надо быть русским, чтобы с содроганием сказать себе: это она, наша родимая матушка, наша «Русь державная, родина православная», — как чуть ли не в слезах говорит у Бунина купец-патриот (и конечно потенциальный погромщик) Ростовцев, — это она, оставшись в советском своем обличии до странного верной прежним расейским чертам, это она в недрах своих породила и взлелеяла все это! Пусть же

простит она, если для этого ее облика у иных ее сыновей не находится других слов, кроме запомнившейся мне розановской фразы: «расстаюсь вечным расставанием».*

С Мариной Цветаевой дело проще. Довольно часто мне приходится слышать упреки, что я ее недооцениваю и не понимаю. Недооценка возможна. Но не понимать в Цветаевой нечего.

Она, конечно, была настоящим поэтом и, конечно, у нее попадают отдельные блестящие строфы, мелодические и меланхолические, женственные, как ни у кого. Задумчивость, полусонно-певучие интонации, тихий, сомнамбулический ход некоторых ее стихов к Блоку или ранних стихотворений о Москве неотразимы. Но творческие претензии Цветаевой мало-помалу оказались в разладе с ее силами: утверждаю это, как очевидную истину, хотя и знаю, что остаюсь в одиночестве. Юрий Иваск, например, один из ее верных, стойких поклонников, вспомнил даже Державина, говоря о ней: высокий поэтический склад, высокий душевный строй, пафос, роскошь, пышность. Это — портрет, это — характеристика, но это не довод, и расходимся мы лишь в догадках, на чтении основанных, было ли у Цветаевой достаточно «горючего» для непрерывного пламенения, или пламенела она большей частью призрачно, механически, по инерции, как во мно-

* Мне привелось один только раз довольно долго говорить с Маяковским: в «Привале Комедиантов», в ночь, когда распространился слух об убийстве Распутина. Все были взволнованы, обычные перегородки между литературными группами и группками на несколько часов исчезли. С Распутина разговор, конечно, перешел на поэзию. Маяковский был непривычно сдержан и умен, бесконечно умнее своей раз навсегда принятой поэзы.

гом ей родственный Бальмонт. Об этом можно спорить. Но о том, что в ее скороговорке, в ее причитаниях и восклицаниях, в ее ритмической судороге нет творческой новизны — то есть данных для развития, — по моему и спорить нельзя. Цветаева принадлежит к тем, с кем кончается эпоха, и только дух противоречия, которым она была одержима, дух творческого «наперекор», помешал ей в этом сознаться. Даже самой себе.

Гораздо значительнее, — формально и внутренне, — Пастернак, хотя у него и нет цветаевского «шарма». Но ищет ли он его, хочет ли, склонен ли был им прельститься? Едва ли, — как Пушкин едва ли прельстился бы тем, что иногда подкупает у Фета.

Пастернак, — вместе с Хлебниковым, — единственный наш поэт «новаторского» типа, который свои лабораторные опыты не считает нужным соединять с противопоставлением себя всему остальному человечеству, с самоупоеанием и гениальничаньем. Одно это должно бы внушить к нему доверие, не будь даже в его поэтическом облике других черт, редких и замечательных. Однако самый опыт его не только не колеблет сомнений в дальнейшей «возможности поэзии», но неожиданно подводит под них новые основания, поддерживает их своим примером, всей своей импровизационной произвольностью.

У Пастернака слово сошло с ума, впервые в русской поэзии: слово перестало быть единицей логической, связанной в движениях логическим смыслом и не поддающейся обращению, в котором смысловые сцепления понятий были бы заменены какими-либо другими. Пастернак делает со словом все, что ему вздумается и заставляет его изменять значение там, где ему это угодно. Для Пастернака существенно не то, что небо есть небо, а дерево есть дерево, для Пастернака важны, в качестве целостного замысла лишь данная строка или строфа, и «небо» может утратить в ней все свои небесные признаки, признававшиеся до сих пор постоян-

ными. Освобождение, шаг вперед? На первый взгляд, как будто бы так: «ломка канонов». Но если это и освобождение, то вместе с тем и оскудение, убыль действительности, — потому, что и прежде, у поэтов истинных, слово никогда, ни в коем случае, не бывало исключительно логическим знаком. В слове было то, что возвеличивает в нем Пастернак, плюс логический смысл, — и есть глубокое, пусть и почти метафизическое, обоснование уверенности, что логическое содержание должно бы остаться важнейшей, первейшей сущностью слова. «В начале бе слово . . .» Отстаивание логики было едва ли не главным устремлением Ходасевича, а раньше — Гумилева, который, помнится, особенно настаивал на необходимости зрительной проверки метафор. У Пастернака метафоры нередко бывают вполне безумны, и отчасти это позволяет ему взметать словесные вихри, в которых он — царь и бог, никем, ничем не ограниченный. Вихри, что и говорить, вдохновенны. Но вдохновение — личная черта, личный дар поэта, который он никому передать не может, а передавая метод и стиль, он внушает отказ от прозы, боязнь ее, вместо ее преодоления. Именно в этом-то ведь корень всего, всех надежд, мечтаний, всех «невозможностей», всех творческих тупиков и драм: проза должна быть в поэзии претворена, должна в нее войти и в ней раствориться. Поэзия должна возникнуть над прозой, после нее, а не в сторонке, как малодушное бегство от встречи, без согласия на риск. Линия Пастернака есть линия наименьшего сопротивления, при всей внешней, чисто синтаксической или стилистической его сложности: формальный замысел его поэзии таит в себе предчувствие «невозможности» (хотелось бы сказать: предзнание), но вместо того, чтобы разбить себе голову о стену, или хотя бы рискнуть этим! — Пастернак ищет обходных тропинок, да еще со скамейками для отдыха. Все это может показаться нарочитым, предвзятым искажением пастернаковской позиции: подумайте, он,

труднейший из трудных, — и наименьшее сопротивление! В оправдание Пастернака напрашиваются разнообразные выводы: во-первых, он делает со словом то, что давно уже делают иные поэты на Западе, и значит, идет вровень с передовой западной культурой, не в пример большинству соотечественников, во-вторых — наш эвклидовски-рационализированный мир рухнул под ударами науки, и как знать, не точнее ли отвечает пастернаковский мнимый хаос истинной реальности, чем поэзия трехмерная? Не в лобачевски-римановском ли восприятии реальности обнаруживается острая, интуитивная современность Пастернака? Этот второй довод я уже как-то слышал, и уверен, на удочку эту можно с успехом поймать людей принципиально падких до модернизма. Но это довод лживый. Догадки, пусть и научно беспорные, о том, что наше мышление подчинено законам, которые вовсе не обязательны для вселенной, с земли нас не уведат, в устройстве нашего мозга ничего не изменяют, и никакая относительность, досадно нам это или не досадно, поэзии не задевает, — если только поэзия — не приятное времяпрепровождение с новейшими чудо-игрушками. Игра у Пастернака неизменно чувствуется — в противоположность творчеству наименее склонного к ней из новых русских поэтов, Блока. Но странно: привкус пастернаковской поэзии при этом горек. Освобождение не привело никуда, привело в «никуда»: Пастернак остался в пустоте и видит вокруг себя только миражи.

«Невозможность» он укрепляет впрочем и по другому: читаешь Пастернака — и с первой же строки знаешь, чувствуешь, что тебе предлагают нечто художественное, поэтическое, да еще новое. А мало что расхолаживает сильнее, чем художественность назойливая или правильное сказать — наглядность художественных намерений. Ледяной душ! У Пастернака, правда, эти претензии — хорошего качества, не такие, как у иного беллетриста, который пишет, например:

«Серебряная скатерть моря была расшита вздрагивающими жемчужинами...» — и в допотопной наивности своей думает, что пишет «художественно», а если бы написал, что в море отражалась луна, то это было бы не «художественно»! Нет, Пастернак, конечно, на другом уровне, но намерения его, то есть в сущности швы, все же видны. Пастернак дает поэзию, «поэзию» в кавычках. А когда голодному дают пирожное, он склонен сказать: дайте кусок хлеба. Поэтического голода кремом не утолить.

В попытках доискаться, в чем же самая суть расхождения, является мысль: не главное ли в поэзии — ощущение суеты сует? Голод не оттого ли, что суета сует не питательна? Читаешь стихи, видишь, как они крепко и ладно сделаны, — и недоумеваешь: *зачем* они сделаны, *зачем*? Поэзия должна бы на этот вопрос ответить или перечеркнуть, отбросить его. Но все доступные ей средства приблизительны, и в свете недоумения «зачем?» обнаруживается их несостоятельность. Золотая райская птица все равно упорхнет. В руках останется в лучшем случае попугай с красными и зелеными перьями, к тому же и крикливый.

Что же делать? — спрашиваешь себя в сотый раз. — Что делать во имя «образа и подобия»? Ради «лучших слов», какие надо в себе найти? Попытка вытравить все украшения, всякого рода побрякушки, не только грошевые, но и отличной выделки, высокой пробы, малопомалу приводит к белой странице. Никакой мед не пришелся по вкусу, и «се аз умираю», хоть и с блаженным чувством правоты и верности (немножко как у Анненского в монологе Фаиры после состязания с Музой... Как у него это хорошо! А кто этот монолог помнит? Пять-шесть человек. Зато о «многогудии бронзы» известно миллионам).

Подстерегает опасность и хуже, чем пустая страница: естественное, даже в каком-то смысле здоровое стремление избавиться от тирании «невозможности»,

— однако без согласия вступить на путь беспечно-развлекательный, в духе «лимонада», о котором говорил Державин, и говорил, конечно, в насмешку, — стремление это может привести к сочинению стихов, ничем не отличающихся от тех, которые писали майковские эпигоны, вялых, бледных, даже не мертвых, а как бы еще не родившихся, никаких. Преодоление прозы может оказаться на деле осуществлением прозы и ее победой. Если в ответ нет отклика, сетовать не на кого: виноват ты сам, надо все начинать сначала.

У нас в эмиграции есть поэт, сравнительно еще молодой, который с темой моей связан, хоть и не знаю, согласился ли бы он с таким утверждением, — Игорь Чиннов. Некоторый недостаток внимания к нему вызван повидимому крайней его «камерностью», и правда, читая его, вспоминаешь иногда остроумное, типично галльское в своей отчетливости замечание Поля Валери: *„Ecrire en moi naturel. Tels écrivent en moi dièse“*. Чиннов пишет в *„moi bémol“*, он приглушает тон с той же одержимостью, с какой Цветаева или Маяковский упорствовали в своих диэзах. Но его тончайшие стилистические находки, переливчато-перламутровые оттенки иных его эпитетов внушены, мне кажется, двойным отталкиванием: и от эпигонства, и от пышности, за которой можно протащить контрабандой что угодно. Будто эквилибрист на проволоке, он то сделает шаг, то остановится, переводя дыхание, — но равновесия не теряет никогда. Ни одного срыва.

Опять вспомню Валери: «будет ли еще в Европе что-нибудь великое», или «будет ли двадцать первый век?» — как спросил себя недавно один из наших русских писателей.

Недоумение относится к творчеству, хотя в наш «атомный» век истолковать его можно шире и тревож-

нее. Это распространяющееся теперь ощущение иногда сопоставляется с позднеримским, тем, которое запечатлено в знаменитом верленовском сонете — «все выпито, все съедено, plus rien à dire». Но на Рим надвигалась неизвестность, огромное, темное варварство, при том таившее в себе не меньше сил, чем было их в классической древности. Сейчас в мире светло: все ясно, все подсчитано, неизвестности придти не откуда. А стремительное ускорение технического прогресса оказалось для искусства настолько заразительным, что в последние сто лет оно больше сменило форм, больше отвергло, большим увлеклось, больше возненавидело или провозгласило, словом больше проявило нетерпения и непоседливости, чем за два тысячелетия до того: у Пушкина с Горацием, например, общие черты очевиднее, чем у Пушкина и Хлебникова или у Пушкина и французских сюрреалистов. И нетерпение это, непоседливость эта все усиливается...

В первые, озорные футуристические годы был человек по имени Василиск Гнедов, считавшийся поэтом, хотя, кажется, он ничего не писал. Его единственное произведение называлось — «Поэма конца». На литературных вечерах ему кричали: «Гнедов, поэму конца!»... «Василиск, Василиск!» Он выходил мрачный с каменным лицом, именно «под Хлебникова», долго молчал, потом медленно поднимал тяжелый кулак — и вполголоса говорил: «все!». В будущем вероятно найдутся поэты более словоохотливые, но это «все!», теперь, с оглядкой чуть ли не полвека назад, представляется символическим. Как продолжить, как развить поэзию? А если невозможно развитие, удержится ли в поэзии жизнь? «Будет ли двадцать первый век?»

Сейчас наши лучшие стихи не пишутся, а скорей дописываются. Георгий Иванов в сущности не пишет, а дописывает, искусно смешивая последние обрывки

чувств, надежд и мыслей, и при том, слава Богу, без уступок какому-либо модернизму. Но насчет возможности развития своих приемов он, надо думать, не обольщается сам.

Возвеличение прошлого в ущерб и в упрек настоящему — позиция банальная и смешная, в особенности если внушена она возрастом. Об этом не стоит и говорить: это — «вы нынешние, ну-тка!» Но и утверждение, что все эпохи одинаковы, и что след, оставляемый в искусстве каждым поколением, равноценен всякому другому, — не менее ошибочно.

В русском прошлом было много хорошего, было и много слабого. Но обрывая эти свои заметки, — в которых столько осталось недоговоренного! — в виде лучшего к ним комментария, в виде ключа к ним и даже оправдания, не могу удержаться, чтобы именно из прошлого не привести короткое стихотворение — шесть строк Баратынского:

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой,

Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,

И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят: «удивительно», «изумительно». Ничего «изумительного» в этих стихах нет! Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества: это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение «образа и подобия». Ни иронии,

ни слез, ни картинно-живописной мишуры: никаких симптомов разжижения воли. Экономия средств, то есть начало и конец мастерства, доведена до предела: все стихотворение держится, конечно, на одном слове «строгий». Но слово это наполнено содержанием, которого хватило бы на десяток поэм, вроде какой-нибудь несчастной «Инонии», и целое залито отброшенным назад светом этого слова.

После всего, что пронеслось в памяти перед этим, таким строкам поистине «без волнения внимать невозможно». И хочется сказать: Евгений Абрамович, не первый русский поэт, но в поэзии первый наш учитель, за холод вас окружавший, за снисходительное, да и то с оговорочками, одобрение пустомели-Белинского, дававшего вам понять, что вы — человек отсталый, а он — человек передовой, и потому вправе учить вас уму-разуму, за все, куда докатились мы после вас, за чело-веческую низость, за «бронзы многопудие», за вашу стойкость, ясновидение и печаль, позвольте послать вам поклон, «смиренно преклонить колени», как сказано у другого поэта, «учитель перед именем твоим...»

Или иначе, — будто пьяный Мармеладов с пустым полуштофом в руках, обратиться к поэзии с мольбой: «да приидет царствие твое!»

Но не придет оно никогда.



СОДЕРЖАНИЕ

Комментарии		5
Наследство Блока		147
Поэзия в эмиграции		167
Невозможность поэзии		187

Того же автора:

Облака. Стихи. Изд. «Гипербрей», Петроград, 1916.

Чистилище. Стихи. Изд. «Петрополис», Петроград, 1922.

На Западе. Стихи. Изд. «Дом Книги», Париж, 1939.

L'autre patrie. Paris, 1947.

Одиночество и свобода. Литературные очерки.
Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955.

Толстой (На правах рукописи). Париж, 1960.

В. Маклаков. Париж, 1963.

О книгах и авторах. Заметки из литературного
дневника. Мюнхен—Париж, 1966.

Единство. Стихи разных лет. Изд. «Русская Книга»,
Нью-Йорк, 1967.

РУССКОЕ КНИЖНОЕ ДЕЛО В США

VICTOR KAMKIN, Inc.

Publishers • Booksellers • Importers

1410 COLUMBIA ROAD, N. W. — WASHINGTON, D. C. 20009 — NORTH 7-0690

СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

АВЕРЧЕНКО АРКАДИЙ — Избранное, 178 стр.	2.00
АЛЬТШУЛЛЕР Г. — Дело Тверитинова, историч. роман в 2 кн., 294+316 стр.	6.50
БУТКОВ В. И. — Творчество М. Ю. Лермонтова. Расширенный доклад, прочитанный в на- шем магазине, 80 стр.	1.50
ВЕРТИНСКИЙ А. — Песни и стихи. (Издание распродано)	
ВРАНГЕЛЬ Л. баронесса — Воспоминания и ста- родавшие времена, 204 стр.	2.50
ГУМИЛЕВ Н. — Собрание сочинений в 4 томах, под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филип- пова. Тт. 1, 2, 3 по	5.00
ЕФРЕМОВ В. Н. — Очерки по истории русской литературы XIX века, 351 стр.	4.00
ИВАНОВ В и ГЕРШЕНЗОН М. — Переписка из двух углов. (Издание распродано).	

ЛАХМАН ГИЗЕЛЛА — Зеркала. Вторая книга стихов, 74 стр.	1.50
ПЕТРОВ В. П. — Китайские рассказы, 58 стр.	1.00
„ Албазинцы в Китае, 45 стр. . .	0.50
„ Сага Форты Росс, истор. роман в 2 кн., 190+182 стр. . . .	3.70
РОБСМАН В. — Рассказы и очерки, 148 стр. .	1.50
СОДРУЖЕСТВО — Из современной поэзии Русского Зарубежья, 565 стр.	6.00
СЕВЕРЯНИН Игорь — Громокипящий кубок, поэмы, 203 стр.	2.50
СОЛОВЬЕВ ВС. — Сергей Горбатов, истор. роман в 2 кн., 329+258 стр. .	4.50
„ Вольтерьянец, истор. роман в 2 кн., 251+244 стр. . . .	5.00
„ Старый Дом, историч. роман в 2 кн., 254+268 стр. . . .	6.00
„ Изгнанник, историч. роман в 2 кн., 251+244 стр. . . .	6.00
„ Последние Горбатовы, историч. роман в 2 кн., 174+276 стр. .	5.50
СТОЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА прихода русских эскадр в США. Статьи: В. П. Петрова, А. Г. Тарсаидзе и А. Долгополова, 84 стр. с иллюстрациями.	1.50
ТЕРАПИАНО Ю. — Избранные стихи, 110 стр. .	1.50
УЛЬЯНОВ Н. И. — Северный Тальма. К 150-летию взятия русскими войсками Парижа в 1814 г. (Доклад, прочитанный в нашем газете), 32 стр.	1.00
ФЕСЕНКО Т. — Глазами туриста. Европейские впечатления, 142 стр.	2.00
ФЕДОРОВА НИНА — Жизнь, роман в 3 книгах, 204+217+243 стр.	7.50
ФИЛИППОВ Б. А. — Кресты и перекрестки. Очерки и рассказы, 160 стр. . . .	1.50

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

- Адамович Г. — Комментарии, 220 стр.
Иваск Ю. — Хвала. Сборник стихотворений, 64 стр.
Кузнецова Галина — Грасский дневник.
Моршен Н. — Двоеточие. Сборник стихотворений, 70 страниц.
Одоевцева И. — На берегах Невы, 460 стр.
Северянин Игорь — Златолира. Поэзы. Собр. сочинений, том 2, 224 стр.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

- Злобин В. — Тяжелая душа (О Зинаиде Гиппиус).
Иванов Г. — Собрание сочинений, в 2 томах.
Корвин-Пиотровский В. — Стихотворения и поэмы в 2 томах.
Лукаш Иван — Бедная любовь Мусоргского, 2-ое посмертное издание, 150 стр.

